

БИБЛИОТЕКА

**ОГОНЁК**

№ 52

1967



*Николай НЕФЕДОВ*

ИЗДАТЕЛЬСТВО  
«ПРАВДА»  
МОСКВА

**ПОСПЕХИН  
ПРИЕХАЛ В ГОРОД**



БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК» № 52

Николай НЕФЕДОВ

ПОСПЕХИН ПРИЕХАЛ  
В ГОРОД

РАССКАЗЫ

Издательство «ПРАВДА»  
Москва. 1967

Николай НЕФЕДОВ

*Николай Николаевич Нефедов родился в 1933 году в Рязанской области. Учился в ремесленном училище, работал мастером производственного обучения, в 1965 году окончил Литературный институт имени А. М. Горького. С 1963 года начал печататься. В 1964 году в издательстве «Советская Россия» вышла его первая книга — повесть «Мужички».*

---

## ПОСПЕХИН ПРИЕХАЛ В ГОРОД

### 1

В пятнадцать лет хорошо уезжать из дома с родителями, а лучше с друзьями. С родителями ты беспечен, с друзьями — самостоятелен. Ваня Поспехин уехал один. До Коровинска добрался без происшествий. Быстро нашел поселок за городом, где жила его теть, Авдотья Гавриловна Пышкова.

Когда Ваня еще шел по улице поселка, он мысленно сравнивал дома, прикидывал, который из них лучше, во сколько обошелся владельцу, и очень хотел, чтобы теткин дом был всех дороже. При оценке домов цифра, по расчетам Вани, выходила внушительной. И Ваня знал, что расчеты его почти точные: они с отцом там, у себя в деревне, только этим летом отделали дом, а строили его два года, деньги же копили того больше.

«Справные, видать, тут хозяева живут,— думал, шагая вдоль улицы, Ваня, с крихтением перебрасывая из одной руки в другую увесистый чемодан.— Справные. Но и мы с батей отгрохали хорош домина».

Ваня скользнул взглядом по нечетной стороне улицы. «Тетин дом семнадцатый». Поспехин проходил мимо девятого. Следующий, одиннадцатый, резко отличался от многих домов по обе стороны улицы. Небольшой, бревенчатый, он стоял в глубине двора. И если за оградами других домов виднелись ровные дорожки, ровные ряды яблонь, под ними опять же ровные гряды огурцов, помидоров, лука, то к этому домику вела только чистая прямая дорожка, а яблонь Ваня насчитал всего пяток, остальное же место во дворе было занято сиренью, вишней и цветами. Между кустами сирени просвечивалась ровная площадка, заросшая травой,— о лучшем месте под огород и мечтать невозможно,— но посредине ее виднелась скамейка, а поперек между деревьями привязан гамак.

Поспехин даже остановился перед этим домом, чтобы внимательнее все рассмотреть. И не потому, что увидел запущенный двор, а потому, что увидел на углу дома его номер.

— Одиннадцать дробь семнадцать,— прочитал он и испугался.— Неужто тетя здесь живет? Добра сколь пропадает даром! И вода вон подведена к самому дому. Вскопай землю да поливай.

И ему стало обидно за тетю, что она живет хуже всех в поселке. Особенно стыдно, что домик больно неказистый на вид. «Вон хорош домишко-то,— тяжело вздохнул Ваня.— Вон тот, через два участка или три от этого. Каменный, видать, с большими окнами».

Поспехин вздохнул еще раз, потоптался на месте, перекинул из правой руки чемодан в левую, шагнул к калитке и в это время увидел, как из домика вышел аккуратный старичок в белой холщовой рубашке, таких же белых холщовых брюках и в шлепанцах на босу ногу. Следом за старичком шла невысокая седая женщина с книгой в руке. Они направились к скамейке.

— Оленька, ты скоро? — певуче спросила женщина.

— Нежданочка-аа,— позвал старичок.

Из дома выбежала в цветастом сарафане невысокая девушка. Распущенные черные волосы перехвачены на затылке красной лентой и на голове лежали гладко, а потом свободно покрывали плечи, руки, развевались за спиной. В руках у девушки была тоже книжка. Она с разбегу бросилась в гамак, старичок с женщиной неторопливо уселись на скамейке.

— Тэкс, тэкс, Ольга Петровна,— заговорил, усаживаясь, старичок, прилаживая на носу пенсне.— Выходит, мы с Маришей будем защищать отжившую поэзию, а вы современную. Ну-ну!..

— Так точно,— отозвалась девушка.— Вам придется, Петр Степанович, почаще меняться при чтении «успокаивающей слух поэзии» с Мариной Тихоновной, а то вас быстро в сон бросит.

— Поглядим-увидим,— сказала Марина Тихоновна.

Поспехин, не оглядываясь, пошел дальше. «Книжечки почитывают,— думал презрительно.— Сейчас в колхозе самая уборка. Батя с мамой, почитай, не спят: нет времени,— а они с книжечками. Двор запустили, на рынок, небось, за луком бегают, а у самих земля пропадает...»

Ваня, возможно, долго бы укорял странных жителей дома одиннадцать дробь семнадцать, если бы в это время не остановился перед домом просто семнадцать без всяких дробей.

— Вот это да! — не удержался от восхищения Поспехин.

От свежевыкрашенной в зеленую краску калитки (столбы покрашены в желтую) к террасе высокого кирпичного в пять окон дома вела асфальтированная дорожка, облицованная белым кирпичом. Голубая терраса так и сияла свежесмытыми до блеска стеклами и казалась прозрачной. По углам дома и

террасы спускались до самой земли красные водосточные трубы. Земля под ними забетонирована в виде небольших лоточков, и от каждого лоточка проложена канавка к вишневым деревьям, высаженным вдоль ограды. И вишневые деревья и яблони снизу выбелены, и если взглянуть на первый ствол, то другие за ним невозможно увидеть — так ровно они высажены. Яблонь было не меньше десяти — двенадцати. Между яблонями (опять же не как-нибудь, а в шахматном порядке) росли увешанные янтарными бусинами кусты крыжовника.

Чем занята другая сторона огорода, за домом, Поспехин видеть не мог. Он не решался еще открыть калитку да и не решился бы: пугали настороженные глаза овчарки, сидевшей у конуры недалеко от входа. Он все рассматривал пока через забор.

Во дворе, кроме насторожившейся овчарки, никого не было, только в дальнем конце двора, опять же за высокой загородкой, обтянутой поверху частой проволочной сеткой, разгуливал петух; кур не видно.

— Крепко живет тетя,— прошептал с уважением Поспехин и внимательно оглядел зеленую калитку, желтые столбы по сторонам. Увидел на столбе рядом с синим почтовым ящиком белую кнопку звонка. Нажал. И сразу же услышал, как хлопнула дверь, на террасе застонали половицы. Поспехин увидел тетю.

Тетя приезжала в гости к Поспехиным, когда Ване было всего четыре года. Ваня смутно помнит, что тогда тетя Дора много плакала, а Мишка, ее сын и двоюродный брат Вани, рассказал Поспехину, как к ним приходил милиционер и увел куда-то отца. Почему? Мишка не знал. Только в прошлом году уже отец Вани рассказал Ване, что Павла, так звали Мишкиного отца, сажали за растрату в тюрьму. И рассказал-то отец только потому, что год назад Павел, муж тети Доры, вернулся из тюрьмы и что, по словам отца, «Дора правильно сделала, не приняв Павла в дом». Где теперь живет дядя Павел, Ваня не знал и не хотел знать, а тетя Дора — вот она. Стоит на ступеньках террасы и смотрит на него, на Ваню.

— Здравствуй, тетя Дора!

— Никак, Иван Григорьевич пожаловал! — всплеснула руками Авдотья Гавриловна.

— Ага! — радостно отозвался Поспехин. — Я это.

— Вижу, вижу, — отвечала Авдотья Гавриловна и уже шла, нет, плыла к калитке. — Ты поставь чемодан-то на землю. Чижолый, пооди?

— Пустяки. Мы привыкли,— ответил солидно Ваня, сгоняя с лица восторженную, никак не солидную улыбку. И лишь пройдя в калитку перед отступившей в сторону тетей Дорой, прошагав до террасы, поставил чемодан. Потом снял кепку, вытер ею с лица пот.— Молодцом ты, тетя, устроилась,— повел рукой вокруг.

— Хорошо, Ваня. Не обижаемся, живем,— откликнулась тетя и, уперев в бока руки, горделиво огляделась вокруг.

Они стояли рядом: толстая, дородная, правда, невысокая тетя Дора в ярко-желтом блестящем халате, чуть-чуть даже закрывающем малиновые домашние туфли с белой пушистой оторочкой и с таким же белым и пушистым пухиком на мысике, и Ваня, маленький, щуплый, в дешевом и пусте мятом, но новом сером костюме, в желтых, также новых ботинках. Кепка у Вани отцовская, выдавшая виды, но он ее держал в руках, и потому на общий наряд она никак не влияла.

— Живем,— повторила еще раз с удовольствием Авдотья Гавриловна и повернулась к Ване.— Ну, здравствуй, что ли, племянник.

Она повернулась и раскинула свои мощные руки. Сверкнул золотом на солнце ее блестящий желтый халат, и Ваня утонул в объятиях тети. Но тут же она его оттолкнула; блестящий, напитанный ароматными духами халат мощно заколыхался на груди.

— Ты не целуй в губы-то, окрасишься,— смеялась тетя Дора.

Ваня ткнулся куда-то в сторону от лица, и губы его ощутили что-то твердое. Он отстранился. Перед глазами колыхались на длинных цепочках под цвет халата два полумесяца.

— Уколота? — хохотала тетя Дора.— Ну ничего. Пойдем в дом, а то ты мне серьги поломаешь от радости.

Они пошли в дом. Впереди тетя Дора, позади с чемоданом в руке Ваня.

Прошли террасу, вошли в большую комнату. По пути тетя Дора поправила завернувшийся половик, на тахте пригладила чехол, переложила вышитую накрахмаленную подушечку, переставила одного из семи слоников на буфете. Все это она делала не спеша, и Ваня вполне успевал рассмотреть убранные комнаты. Тетя заглянула даже за телевизор, пробормотав: «Вечно забывают вытащить шнур»,— хотя шнур лежал перед телевизором на тумбочке. Дальше Авдотья Гавриловна раздвинула занавески, и Ваня увидел помещение другой комнаты, заметил в ней две кровати, письменный стол.

— Там квартиранты у нас живут,— пояснила она.

В третьей комнате стоял диван, у окна письменный стол,

над тумбочкой с приемником приколоты две открытки. С открыток улыбались Юрий Гагарин и Герман Титов. В углу комнаты недалеко от стола — книжный шкаф, на стене — гитара. Тетя открыла нижнюю незастекленную дверцу шкафа, и Ваня увидел стоящий там коричневый ящик.

— Мишкин аккордеон,— пояснила, закрывая дверцу шкафа, Авдотья Гавриловна.

Они вернулись в первую комнату, прошли на кухню.

— Ой, боже ж мой! — спохватилась Авдотья Гавриловна.— Да поставь ты чемодан-то свой.— И, взяв у Вани чемодан, отставила в угол.— Устал, поди?

— Нет,— сказал Пospехин.— У вас как посмотришь все, устаток рукой сымет. Хорошо ты живешь, тетя.

— Понравилось?

— Дык, он кому ж не понравится, достаток-то в дому. Хорошо, ничаво не скажешь.

— Ты, Ваня,— рассматривая внимательно присевшего на табуретку к столу племянника, сказала Авдотья Гавриловна,— пореже чявокай-то. И дык, другие слова деревенские пореже говори. Мне все одно, а Мишка, твой братец, он насмешник. И третьеводник квартиранты поселились у меня. Один-то молчаливый, а другой... Хи-хи-ии! — залилась вдруг Авдотья Гавриловна.— Другой такой озорник, не приведи господи.

— Дык, пошто нам отвыкать-та,— медленно и солидно отозвался Пospехин.— Чай, опять в деревню поедем. Батя беспременно наказывал обрат вертаться. Теперь колхозник по-нонешнему хорошо живет, потому в городе хлеборобу оставаться резонов нету.

— Ах, Ваня, Ваня! — всплеснула руками Авдотья Гавриловна.— Ты рассуждаешь прям как взрослый. Сколь тебе годов-то? Забыла я.

— Дык пятнадцать. Семилетку закончил.

— Ну-да, ну-да,— закивала головой Авдотья Гавриловна, и в такт кивкам слаженно закивали на цепочках серьги.— Моему Мишке шестнадцать, а ты на годок моложе.

— А где Мишка-та шастает? — спросил Ваня.

— Да с ребятами где-то. С утра сел на велосипед — и поминай как звали. Я вот сейчас переоденусь быстрехонько,— заторопилась она вдруг.— Соберу на стол чего там. Ты умоешься, Мишка подъедет, тогда за столом еще поговорим.

Она протопала в другую комнату. Ваня встал к окну. Окно выходило как раз на ту сторону двора, которую Пospехин не видел. Здесь также росли яблони, увешанные густо плодами, в несколько рядов тянулись к солнцу цветы. В другом углу двора все так же одиноко разгуливал петух. Ваня услышал тяжелый

скрип половиц: в кухню возвратилась тетя. На ней теперь был другой халат.

— Это ты верно, тетя Дора, что праздничное-та сняла,— заметил Ваня.— Чего доброе на кухне губить.

— Ох, весь в отца! — всплеснула руками Авдотья Гавриловна, и на груди тяжело заколыхался теперь уже ситцевый, цветочками, тонкий халатик, а в ушах закачались подвешенные на цепочках не полумесяцы, а синие шарики.— Весь в отца,— повторяла она.— Тот, помню, невестку, твою мать, в молодости заставлял платок носить наизнанку, чтоб узор на солнце не выгорел. Только толку было чуть: неперевернутый платок невестка износила,— задыхалась от смеха Авдотья Гавриловна. Она обняла племянника за плечи, подняла его голову.— Характер, видать, наш, поспехинский, а личностью ты, Ванька, весь выдался в мать свою, тихоню. Волосики у тебя прям рыжие, у матери светлые, помнится, были, носик маленький — ее. И глаза ее, карие. А веснушки-ии!.. Не знаю, Ванюшка, у кого ты их столько набрал. И щуплый ты, парень, щуплый. Опять в нее.

Поспехин покраснел. Взглянул тете в лицо. Оно склонилось над ним близко. Широкое, мясистое, большеротое. Красив у тети только лоб, большой и чистый. Хороши черные длинные брови, но тетя их, видно, часто, слишком часто подправляла, они превратились в тонкие ниточки и портили лицо. Но все-таки лицо тети было какое-то, какое-то... «Породистое»,— подумал Ваня. Он хотел уже сказать тете об этом, но, взглянув в глаза, раздумал. Глаза были неуловимого оттенка, и в них словно бы застыл испуг.

— Иди умывайся, Ванюшка,— подтолкнула его к двери тетя.— Главное — характер, а с лица воду не пить. Иди. Умы-вальник во дворе, увидишь.

Ваня пошел к двери и оглянулся. Да, тетя Дора невысокая ростом, полная, у нее именно породистое лицо, и, видимо, поэтому она кажется чуть ли не величественной. Но вот глаза? Словно тетю когда-то сильно напугали, и в глазах у нее так и застыл испуг. И сразу тетя потеряла свою величавость, а Ване вспомнилась одна запечатлевшаяся в памяти история.

Это было два года назад. Весной. У них сразу в доме от двух наседок вывелись цыплята. А через короткое время из сорока двух цыплят осталось меньше двадцати. Каждую ночь пропадало по два-три цыпленка. Ваня решил выследить хищника. Однажды ночью тревожное квохтанье наседок насторожило Ваню, а вскоре он увидел кошку, шмыгнувшую под печь. Поспехин быстро прикрыл отверстие подпечки, зажег лампу и полез туда, где

укрывалась преступница. Кошка, их домашняя кошка, гладкая и разожравшаяся так, что лоснилась шерсть, сидела, вжавшись в угол. Она не шипела, не щерилась, не пыталась улизнуть. Она вжалась в угол и, как все хищники кошачьей породы в минуту опасности, была красива своей звериной красотой. Ваня невольно залюбовался ею.

Крупный, пушистый зверек, напружинившись, сидел в углу. Обе его лапки с белыми подпалинками по концам лежали на добыче. Уши насторожены, длинные усы чуть шевелились и почти касались стенок кладки. Ваня даже рассмотрел тогда надбровные волоски над круглыми кошачьими глазами. Красива была эта домашняя кошка в ту минуту. Да, в ту минуту она была не просто домашней кошкой — она была хищником с только что схваченной в ночном разбое добычей.

И Поспехин замер, любуясь этим хищником, забыл, зачем он здесь, и вдруг увидел глаза. В них метался страх. И Ваня вдруг понял, что перед ним просто их домашняя кошка, которая вот-вот противно замяучит от страха. Тогда Ваня с лихорадочной торопливостью стал шарить сбоку от себя и, схватив подвернувшийся под руку старый валенок, бросил с омерзением не в кошку, нет, в ее глаза. Кошка шмыгнула мимо и с тех пор исчезла со двора.

Ваня Поспехин не знал, почему вдруг вспомнилась эта история, но отчего-то захотел еще раз заглянуть в глаза тете и... не смел. Он, торопливо схватив висевшее на стене полотенце, выскочил во двор.

Когда умывался, невольно озирался, боясь увидеть кошку, но внимание его вновь привлек одиноко разгуливавший за металлической сеткой петух. Он даже обрадовался этому и, возвращаясь, умывшись, на кухню, сразу же спросил:

— Ты пошто петуха-та одного держишь?

— Да кур, паразит, плохо топчет, — отозвалась весело Авдотья Гавриловна. — Куры яйца полевые несут. Без скорлупы.

— Это, конечно, — отозвался Ваня. — Пуцай поскучает, злее будет. Только оно ведь не один петух виноват. Куры-то в загоне, почитай, всегда. Им надо песочку покрупнее с камешками привезти.

— Ха, ха, ха! — так и зашлась в смехе Авдотья Гавриловна. — Злее, говоришь, будет? Правильно, Ваня. Ха-ха-ха!.. Уморил. Ей-богу, уморил, — говорила она, вытирая слезы, выступившие от хохота. — А песочку привезти тыщи раз говорила своему неслуху. Он готов сад вырубить, не то что за курами ухаживать. «Злее будет». Ха-ха-ха! Вот Вадиму Игоревичу скажу...

— Цветов-та зачем столько насадили? — все так же серьезно спросил Ваня, не понимая причины теткиного веселья. Спросил и стал открывать замок на своем чемодане.

— О, цветы, Ванюша,— деньги! — откликнулась, посерьезнев, Пышкова.— На что я, думаешь, хоромы эти возвела? Цветочки в них заложены. Так-то!

— Понятно,— сказал Пospехин и положил на стол два свертка.— Это вот батяня ветчины вам прислал. Это гусь. Зарезали вчера, так что не протух еще, видать. Яйца-та я не взял: боялся поколоть, а масла топленого крыночку привез.

— Спасибо, Ваня, спасибо,—благодарила Пышкова, складывая подарки в холодильник.

— А вот письмо. Страничку всего батя написал. Сами знаете, рабочая пора, писать-расписывать недосуг. Остальное на словах велел передать.

Авдотья Гавриловна взяла письмо. Прочитала, удивленно повернулась к Ване, и Ваня заметил, что глаза у тети стали еще испуганнее.

— Так ты, выходит, не погостить приехал, а в ремесленное поступать. Брат хорошо надумал. Только мне как быть? Я квартирантов пустила. В большой комнате сама сплю, в другой — Мишка. А он у меня ведь школу бросил.— Авдотья Гавриловна приложила к глазам фартук.— Не знаю, куда его теперь и девать. Оно бы и ничего, жили бы в одной комнате, да он прям испортит тебя. Ты парень — золото, а он мне все нервы вымотал. Да вот он, кстати, приехал, кажись. Пойду открою. Господи, господи!..

Пышкова пошла было на террасу, но тут же вернулась. Следом за ней в кухню вошел Мишка.

— Это кто ж? — спросил он, останавливаясь перед Пospехиным.

— Ваня это. Из деревни,— пояснила мать и опять приложила к глазам фартук.

— А-аа, братень. Здорово! — протянул руку Мишка.— Чего ты заморыш такой? Плохо кормят в деревне? Ничего, мама откормит. Эту неделю она не работает, а то каждый вечер будешь свежие бифштексы лопать.

— Ну, ну, разговорился! — прикрикнула на сына мать.

— А чего я такого сказал? — подхватывая со сковородки ломтик жарившейся колбасы, отозвался Мишка.— Ты сама говорила: у воды да не намочиться. Продавать бифштексы, ромштексы и сына с племянником не накормить? Не буду, не буду! — поспешно предупредил Мишка угрожающий жест матери.— Надо долго, братень?

На Мишке был синий спортивный костюм, и, разговаривая, он стаскивал через голову блузу. Снял и потянулся за полотенцем. Белая майка обтягивала его мускулистую грудь. Высокий, голубоглазый. Румянец так играл у него на щеках. Когда Мишка разговаривал, кончик его прямого носа вздрагивал и точно спешил за верхней губой с еле заметными светлыми, еще только что пробивающимися усиками. По росту и сложению Мишке можно было дать не меньше восемнадцати, но мальчишеский светлый вихор на затылке, пухлые пунцовые, совсем еще детские губы и ломающийся басок выдавали его истинный возраст.

— Надолго, спрашиваю, братень? — повторил Мишка.

Ваня слышал вопрос и в первый раз, но, рассматривая брата, забыл ответить.

— В ремесленное он приехал поступать, — ответила мать.

— Вот здорово! — обрадовался Мишка. — Вместе будем, — хлопнул он Ваню по плечу. — Жить у нас будем. Помещения, как видишь, на душу населения с избытком. Слесарем будешь?

— Токарем, — ответил робко Ваня.

Ваня, несмотря на его самостоятельность в хозяйственных делах, был робок и стеснителен с товарищами. Всегда подчинялся коноводам, драться не любил и чувствовал себя гораздо увереннее со взрослыми, чем со сверстниками. Отец за это не раз его ругал и даже в сердцах сказал однажды: «Ты закурил бы хоть тайком, что ли». Мать, услышав такой совет отца сыну, рассердилась, и отец, махнув рукой, сказал со вздохом: «Ну иди коровник подмажь. Купаться-та ребята сегодня с двух улиц в одно место пошли. Драка, видать, будет. Ты не пойдешь, знаю. Струсишь». Ваня сказал тогда, что пойдет и не испугается. И решил непременно участвовать в драке, но, пройдя свою улицу, задержался вначале у школы, потом у колхозного правления, а потом задворками вернулся назад и до вечера подмазывал плетень коровника. А вечером отец сказал: «Ребята-та, говорят, не драться ходили, в футбол играть» — и зорко заглянул сыну в глаза. Ваня покраснел, отвернулся и промолчал.

Вот и теперь, увидев брата, он сразу признал его превосходство и для того, чтобы положить начало дружбе, полез в чемодан, решил подарить Мишке самое дорогое, что было у него, — перочинный нож со множеством приспособлений. Нож подарил ему дед. Где он достал его, Ваня не знал. Но он знал, что нож всегда был предметом постоянной и непрекращающейся зависти деревенских ребят.

Сейчас Ваня вздохнул тяжело и достал свое богатство из чемодана.

— На,— протянул он нож Мишке.

— Ого, силен ножичек! — обрадовался Мишка.— Спасибо. В долгу не останусь.

— Чего же ты такое подаришь? — спросила Авдотья Гавриловна сына. Она давно уже зло поглядывала на него.— На аркане вошь приведешь? Слава богу, у нас вши не водятся.

— Чего? — переспросил Мишка.— Хотя бы гармонь. У меня аккордеон есть, у него будет гармонь.

— А ты ее покупал? — спросила Авдотья Гавриловна сына и прищурилась.— Ты чего это разошелся? Забыл, что квартиранты у нас? Жить приглашаешь? В ремесленное решил пойти?

— Решил,— ответил Мишка, и лицо его стало злым.

— Это когда же?

— Сегодня с ребятами решили.

— Ты вот что, сыночек,— подступила к сыну Пышкова.— Иди вон кур лучше выпусти. С ребятами! — повторила насмешливо.— По какой причине такое решение?

— Чтoб за курами не ходить,— ответил Мишка.

— Так он же, тетя Дора, школу бросил, ты говорила,— робко вставил Ваня.

— Бросил? Опять пойдет! — крикнула тетя Дора.

— Это верно. Тебе надо учиться, Миша,— сказал Ваня, не поднимая глаз.

Мишка взглянул на Поспехина, хмыкнул и побежал на террасу.

— Ведь я чего, Ванюша,— всхлипывая, обняла вдруг тетя Дора племянника.— Видишь он какой. И квартиранты. Один насмешник, а другой сердитый молчун. В общежитии тебе лучше будет.

Со двора раздалось куриное кудахтанье, хлопанье крыльев. Пышкова резко обернулась на шум, шагнула было к двери, но раздумала.

— А вобще, вобще живи, пожалуй, Ваня, у нас,— заплакала она.— Видишь, он, Мишка-то, каков? Ты хоть за курами по-человечески будешь ухаживать. Песочку им принесешь.

Со двора вернулся Мишка. Повесил на гвоздь полотенце, взял со стола нож и протянул Ване.

— Возьми.

— Я ж подарил,— испуганно сказал Ваня.

— Хм,— усмехнулся Мишка и повертел нож в руках.— Мать гармонь все равно не даст.

— Дам, Миша, дам. Без толку лежит. Пусть играет на здоровье,— отозвалась вдруг Авдотья Гавриловна и погладила пле-

мянника по голове.— Садитесь, кушайте. Я уж тут, сынок, передумала. Потеснимся как-нибудь.

— Хм,— хмыкнул Мишка и сел за стол.

Пышкова достала домашнюю настойку. Разлила по рюмкам. Выпили.

— Тетя Маня не болеет? — спросил Поспехина Мишка.

— Да, да,— подхватила Авдотья Гавриловна.— Забыла я спросить.

— Прихварывает маманя. Голова у нее в ненастье болит,— ответил Поспехин.

— Я помню тетю Маню,— сказал Мишка.— Когда мы были у вас, я маленький был, а помню. Она меня все сметаной кормила. Щепки для самовара с ней собирали. Она добрая...

— Тебе бы только сметанку есть с яичками,— прервала сына Пышкова.— Мне его отец, когда за шифером приезжал в прошлом году, рассказывал... Кстати, Ваня, отец за шифер деньги не прислал?

— Мы с батяней обговорились так,— откладывая ложку в сторону, заговорил неторопливо Поспехин.— Осенью картошки машину пригоним. Картошка-то опять осенью дорогая, видать, будет. Сухота летом стояла. Рассчитаемся, стало быть. Вам выгода, и нам барыш.

— Батяня, маманя и... сын их Ваня,— фыркнул Мишка.

— Ну-ну, поет! — прикрикнула Авдотья Гавриловна.— Ты был бы такой, как Ваня. Отец-то, когда за шифером приезжал, рассказывал. «Ваня,— говорит,— по улице пойдет, щепку найдет — подымет. Принесет домой — и в закроем. За лето,— говорит,— полный набрал». Пустяки, а всю зиму самовар было чем разжигать.

— Вот это Ваня! — хохотал Мишка.— Лупить я тебя, наверно, братень, буду.

— Я тебе полуплю! — прикрикнула на сына мать.— Вижу, поели. Шагайте в комнату, а я приляжу. Устала.

— Прилягу, мама,— поправил сын.

— Иди, ученый! — проворчала мать.— Некоторые ученые хуже неученых живут.

— Это она соседей имеет в виду,— пояснил Мишка слова матери по дороге в свою комнату.— Тут недалеко, в доме одиннадцать-семнадцать, живут. Мать завела поросенка, а Марина Тихоновна — депутат горсовета. Она и запретила. Постановление есть такое. Я за это Марину Тихоновну чуть не расцеловал. Я, знаешь, как с ее дочкой на мотоцикле гоняю! Любит с ветерком. Жаль, уехала.

— Дома она,— сказал Ваня.

— А ты откуда знаешь?

— Стоял я у ихнего дома. Двор у них без хозяйского глаза. Видел какую-та девку с длинными волосами. Олей звать.

— Верно! — обрадовался Мишка. — Она ездила в консерваторию экзамены сдавать. Значит, сегодня покатаемся на мотоцикле. А двор у них хороший. Чудак ты! Они в городе живут, а это у них вроде дачи. — И вдруг без всякого перехода спросил: — Драться умеешь?

— Нет, — ответил Пospехин.

— Эх ты, лошадка! А вина хочешь?

— Нет.

— «Нет, нет», — передразнил Мишка и захлопнул на защелку дверь. — На, пей, — протянул он бутылку. — Да не бойся, вино слабое. Такое пажоны пьют. Сухое. У мамыши раньше частенько гости бывали. Перепадало и мне, чтоб не мешал. Теперь потише. Жильцов стесняется. Вообще жильцы у нас ничего. Вадим, тот однажды со мной тпнул, а Сергей бутылку за окно выбросил. Обещал матери доложить. Подхалим, видать. Но пока мамаша молчит. Не слегавил и то ладно. А с Вадимом мы сойдемся. Парень мировой. Знаешь, на аккордеоне дает ка-ак! А «рок» бацает — шик! На, пей!

— А если тетя Дора заметит? — спросил Ваня.

— Эх ты, чувак! Село селом ты, оказывается.

Мишка отпил несколько глотков, сморщился и спрятал бутылку за книги.

— Так все джентльмены делают, — кивнул он на место, куда спрятал вино. — В кино показывали, видел?

— Нет, — ответил Ваня.

— Эх ты, — вздохнул Мишка. — Побоксуемся, может? У меня есть перчатки.

— Не умею я, — покраснел до слез Ваня.

— Ну и фунт, то есть фрукт ты, — поправился Мишка. — А вообще фунт лучше. Тебя как звали в деревне?

Ваня пожал плечами.

— Вот теперь я тебя и окрещу. Становись на колени, — потребовал Мишка.

Ваня растерянно опустилcя. Мишка положил ему на голову руки и торжественно, с расстановкой изрек:

— Ты, Иван Пospехин, посвящаешься в рыцари. Отныне, и во веки веков, и до самого скончания своего будешь носить кличку... Прозвище твое будет Рыжий Фунтик. Согласен? Отвечай без промедления?

— Нет, — ответил Ваня.

— Ах, нет! — вскричал Мишка. — Тогда нареки сам себя любим прозвищем и отстаивай свое славное имя в честном по-

единке. Думай и сражайся. Когда наступишь мне коленом на грудь, назови свое имя, и никто тогда не посмеет ни на этой улице, ни во всем поселке назвать тебя иначе, как только так, как пожелал ты сам. Ибо я буду плечом к плечу защищать твою честь и славное имя вместе с тобою. Я вождь здешнего поселка и предводитель. Сражайся!

Ваня не успел ничего сообразить, как Мишка повалил его на пол и стал заламывать руки.

— Сопровствляйся! — крикнул он.

— Не хочу я, — ответил Ваня.

— Тогда вставай, — с сожалением сказал Мишка, поскуцнел и сел на диван.

Они долго молчали. Мишка потянулся было к аккордеону, но раздумал.

— Поговорим, что ли, давай, — сказал он наконец и сам же заговорил первый. — Ты думаешь, я пошутил о ремесленном училище? Учиться я не хочу, верно. И за курами ходить не хочу. Окончу ремесленное училище, специальность получу и махну к отцу. Он, когда приезжал, звал меня с собой. Мотоцикл с коляской купил. Отец у меня что надо! Если б не мать, он и в тюрьму не попал. Он хоть и не говорил мне, как и чего, а знаю: вот из-за этого проклятого дома сел. — Мишка вскочил и ударил пинком по стене. — Из-за него, как пить дать, лагерником был.

— Отец-та где теперь? — спросил Ваня.

— Работает. Далеко. Живет, пишет, в бараке. Работа хорошая. Ты матери не говори, что я письма от него получаю, — сказал мягко, просяще. — Вот окончу училище — и к нему. Пропадай эти хоромы.

Он встал у окна и долго молчал.

— Ты вот бифштекс ел сегодня. Думаешь, он куплен? Мамаша из буфета сперла. Вот! А ты думаешь, ворованное приятно есть?

Он остановился напротив Поспехина, посмотрел на его склоненную голову, снова сел.

— Мне Витька прошлый раз говорит: «Вы воры! Я, — говорит, — знаю, сколько твоя мать получает. Шестьдесят рубликов. А у вас обстановка — закачаешься, и барахла полно. Почему же у нас, — говорит, — того нет? А мы тоже вдвоем живем, и мать тоже в буфете, как и твоя, работает». Понял? Я ему морду набил, конечно, а он прав. Чего молчишь?

— Так, Миша, — ответил Поспехин, — не пойманный не вор. И к отцу тебе нечего ехать. Окончъ десять классов, институт, тогда к отцу поедешь.

Мишка вскочил с дивана.

— Ах ты, рыжая скотина! Божья коровка! Теперь-то точно знаю, лупить тебя буду. Бери манатки, пока цел. Мотоцикл заправлен, и я тебя в два счета в общежитие доставлю, чтоб не вонял здесь. Щечочки собираешь! Учиться мне!..— кричал Мишка.

Ваня испуганно натянул пиджак. Мишка подхватил его чемодан, распахнул дверь.

Когда они уже выехали со двора, на террасу выбежала Авдотья Гавриловна.

— Куда? — закричала она.

Взревел мотор, и Ваня не понял, что ответил Мишка, но ему показалось, что сказал он такое слово, которое Ваня слышал только от самого страшного матерщинника в деревне.

Вел Мишка мотоцикл на большой скорости, и вскоре они проскочили одну улицу, свернули на другую, выскочили на шоссе, потом проехали мост и помчались по центральной городской магистрали.

## 2

Четыре кровати не заправлены, пятая заправлена. Простыни натянуты, но хранят еще чуть заметные поперечные складки: видно, долго лежали в тяжелой стопе. Хранят они и запах стирки, запах редко проветриваемого складского помещения. Подушка хранит, помимо запахов, еще и все свои классические формы — четыре острых угла и идеальную выпуклость. Ваня постоял над этим неприветливо-равнодушным ложем, поправил на спинке стула полотенце — твердое, шершавое, — тяжело вздохнул. И с какой-то мгновенной ясностью, так отчетливо зримо и так физически ощутимо вдруг увидел свою кровать в углу за перегородкой, там, дома, примятый мягкий матрас, набитый пахучим сеном, большую, с белыми цветочками по красному полю пуховую подушку. Такую подушку, на которую только положи голову, накройся к тому же ватным стареньким одеяльцем, хранившим постоянно тепло, успеи только закрыть глаза — и сон мгновенно смежит веки. Провалишься ты во что-то бесконечное, полетишь в необъятное.

У Вани от таких воспоминаний навернулись на глаза слезы. Одна слезинка даже поспешила, побежала-побежала впереди всех по носу, скатилась в ложбинку, Пospехин торопливо смахнул ее пальцем, остальные рукавом сначала одной руки, потом другой.

В комнате тишина. Тишина и в пяти других комнатах общежития. Тишина за окном. Где-то далеко за стеной, а может, еще дальше, там, за дачным поселком, слышен глухой слитный гул.

То шум машин, шум города. Там жизнь, там люди, а здесь он один. Он подошел к окну и осмотрел до самой ограды двор.

Два столба для волейбольной сетки, еще два столба со щитами и чуть наклонившимися пустыми, без сеток кольцами. В углу сарай. В другом углу два столика со скамейками по бокам. За оградой опять же ничего интересного: дома, сады, ограды... Тоска. Ваня еще раз оглядел голые стены в комнате, окна без штор — они лежали темной стопкой на подоконнике, — задержался его взгляд чуть дольше на зеркале, прислоненном к печке. Пospехин подошел к столу, сел напротив зеркала, задумался. Ему не хотелось ни о чем думать, не хотелось смотреть на себя, хотелось просто вот так сидеть, уставясь в зеркало и не в зеркало — в пустоту. Но он смотрел в зеркало и, быть может, видя перед собой такую давно знакомую и в то же время незнакомую веснушчатую физиономию, не так остро ощущал одиночество.

Вспомнились слова, сказанные отцу учительницей, когда Ваня усаживался в задке телеги перед отъездом на станцию: «Из Вани выйдет человек!» Пospехин тогда не задумался над этими словами, а сейчас они отчего-то всплыли в памяти.

— Выйдет человек! — повторил про себя Ваня. — Выйдет человек, — повторил еще раз.

Что такое выбиться в люди? — Ваня знает. — Быть начальником. Встать на ноги? Это чтоб достаток был в дому. Богато жить.

А что такое «Выйдет человек»? Разве он сейчас не человек?!

Где-то хлопнула дверь. Пospехин вздрогнул и даже сжался в испуге: так это было неожиданно. В комнате, оказывается, совсем уже темно. Ближе, ближе шаги. Стук. Рывок. Щелкает выключатель. На пороге шурится от яркого света молодая женщина. Ольга Петровна, воспитатель. Пospехин уже познакомился с ней, познакомился сразу же, как только слез с мотоцикла. Она стояла тогда во дворе, у одного из столиков.

— Добрый вечер, Пospехин. Что же ты в темноте сидишь?

Ваня промолчал. Женщина, не дождавшись ответа, села рядом.

— У тебя никого здесь родных нет?

— Н-нет.

— Да...

Женщина подвинула стул ближе к столу.

Ваня увидел в зеркале словно запущенную инеем пушистую прядь волос, часть лица за воротом летнего пальто и руку на столе с длинными, сухими пальцами. Женщина склонилась ни-

же, и теперь Поспехин видел большие серые глаза, морщинки, разбежавшиеся лучиками от них. Он перевел взгляд выше. Морщинки и на лбу, брови взлет. Ваня испуганно опустил глаза. «Нет, не мать». Еще раз вверх. «Мать». Надо положить на зеркало ладонь, загородить нижнюю часть лица этой женщины и поговорить вволю, как с матерью.

— Ты что же отвернулся, а в зеркале изучаешь меня? — с улыбочкой спросила женщина.

Он покраснел, а она дотронулась длинными живыми пальцами до его исцарапанной, с поломанными ногтями руки, продолжала:

— Ты не грусти, Поспехин. Скоро соберутся ребята, начнется учеба, и не заметишь, как время полетит. Училище наше орденоносное, лучшее в области. И не только в области.

— Я знаю.

— Пойдем-ка сейчас ко мне. Живу я рядом. Поужинаем. С сыном моим познакомишься. Что тебе здесь одному скучать? И заночуешь у меня. Ну?

— Спасибо. Я здесь...

Не мог же он сказать ей, что у него протертые носки и потеют ноги, штопаная майка и на синих трусах зеленая заплата. Мать тогда торопилась и зачинала первым попавшимся клочком.

— Не побоишься здесь один?

Побоишься? Рассказать бы ей, как они с матерью поехали в лес за сеном. Уложили воз затемно и только отъехали — началась гроза. До деревни пять километров. При спуске в овраг рассыпалось колесо. Мать побежала в деревню за помощью, а он, забравшись под телегу, сидел в крошечной тьме один. Пугала тогда молния, да сжимал сердце страх: как бы в чистом поле мать не убило громом. А здесь в светлой комнате на даче, в теплый августовский вечер бояться?

— Нет, не побоюсь.

— Молодец.

Она не уходила, а ему очень хотелось остаться одному.

Наконец она еще раз внимательно заглянула ему в лицо и встала. У Вани сразу сжалось сердце, на мгновение стало так тоскливо, что, хлопни сейчас воспитательница дверь, он, верно, заскулит по-щенячьи, упадет грудью на стол и зарыдает навзрыд. Но Ольга Петровна не хлопнула дверь. Она встала, подошла совсем близко, так что Ваня почувствовал тепло ее тела, тонкий запах духов, услышал еще что-то такое, не поддающееся определению, присущее только матерям. Это что-то было одновременно: и ласка, и привычный домашний уют, и забота, и защита от неизвестного, и участие, и понимание, это было все то, что так знакомо и привычно с детства.

Ваня порывисто вскочил, выдвинул из-под кровати чемодан, торопливо начал искать белье. Ольга Петровна наклонилась к чемодану, отстранила его руки, отогнула в правом углу газету и достала безошибочно майку, трусы.

— Пойдем,— сказала она.

Ваня задвинул ногой чемодан, искоса взглянул на воспитательницу и виновато улыбнулся.

— Пойдемте.

И когда гасили свет, закрывали дверь, одну, вторую, спускались по ступенькам террасы, шли в полумраке по узкой тропинке, часто задевая мягкие, ласкающие лицо тополиные листья, у него все больше таяло, теплилось что-то внутри, заливало грудь, и в то же время оно, ЭТО, не мешало, наоборот, помогало вдыхать полную грудь стылой прохлады, впитывать тишину, втягивать в глаза мелькавшие в ветвях спелые звезды.

Они шли молча. И все время у Вани было одно огромное, непоборимое желание. Оно было, когда Ольга Петровна открывала калитку, когда ее рука сорвала белевшее яблоко и когда яблоко вначале скрипнуло, потом хрустнуло в его руках, и потом особенно, когда они поднялись на незастекленную террасу и рука ее потянулась к звонку, и эта тонкая, бледно-прозрачная рука очутилась рядом с его лицом, ему так все время хотелось прижаться к этой руке губами. Но он подсознательно почувствовал, как обиделась бы, а скорее рассердилась бы Ольга Петровна, и он с непонятным ему самому ликованием, даже торжеством впился крепкими белыми зубами, захлебываясь соком, в прохладную сочность яблока. И все-таки, пока Ольга Петровна открывала дверь, он не удержался — прижался горячей щекой к ее плечу, выдохнул:

— Спасибо.

### 3

После ванны, распаренный, ослабевший, Пospехин сидел за столом. Ждал, когда остынет в бокале ароматный, с малиновым вареньем чай. Он уже отяжелел от еды, ремень давил ему живот, но Пospехин не вылезал из-за стола. Перед ним на блюде лежал пушистый, словно выпеченный из молочной пены, толстый кусок сдобной булки, поверх опять же толстый слой коричневого шоколадного масла, пробовать которое, не то что есть, ему не приходилось.

Справа за столом поблескивал очками светловолосый, розовощекий, с добродушными, пухлыми губами, задронный Олег, сын Ольги Петровны. Напротив Вани сама Ольга Петровна в домашнем, с широким воротником халатике, наброшенном поверх

белой шелковой блузки. Ваня почти не смотрел вправо, он говорил все время с хозяйкой дома. Нравилась она ему. Сейчас за столом она была еще ближе и роднее, чем даже там, в общезитии, когда стояла близко, рядом. Светлые, с проседью волосы затянуты на затылке в тугой узел, молодежавое лицо ее было строгим и добрым одновременно. А глаза внимательные, с прищуром. Смотрели эти глаза на Ваню, может быть, и изучающе, но это не тревожило его и никак не сковывало. Ему даже нравилось, как она ест. Она берет ножом маленький кусочек масла, кладет на краешек ломтика хлеба, откусывает, потом запивает чаем. Ваня тоже стал бы сейчас есть, как она, но Ольга Петровна приготовила ему этот большой вкусный бутерброд, и придется его съест так же, как сейчас начал есть Олег,— от всего куска, откусывать сразу и на полный рот. Ну Ваня, положим, не знал, что можно вот так красиво есть, как ест Ольга Петровна, а Олег?

Не нравился Ване Олег. И с первых минут их знакомства, впервые, пожалуй, за свою жизнь подумал, что, случись им подраться, Ваня намял бы этому длинноногому очкарику бока. Как пить дал, намял. Ну, что Олег за парень? Длинный, круглолицый, в очках, волосы аж уши закрыли. «Химик»,— подумал отчего-то Пospехин, вкладывая в это слово все свое презрение.

Как-то в одной книжке он увидел на картинке длинного, нескладного человека, в длинном же до пят одеянии, опять же с длинными волосами, испытываемым лицом и тонкими, сухими руками. Этот человек колдовал над банками-склянками. Пусть у Олега волосы короче и лицо круглое — ясно, мать бутербродами кормит, а что спортивный костюм на нем, так это все теперь носят, но он тот же «химик». Без подделки. Да, да, да. У того, оказывается, тоже круглое лицо с вздернутым носом, такие же очки, и поправляет он их постоянно одним мизинчиком, как Олег, подсаживая на нос. Химик...

— Чай простынет, Ваня. Пей,— услышал Пospехин голос Ольги Петровны и покраснел. Оказывается, задремал Ваня. Потому здорово Олег на того химика стал похож, потому он и на картинке стал поправлять очки: сон начал Ване сниться. Пospехин виновато посмотрел в смеющиеся глаза Ольги Петровны и, подвигая к себе стакан, покосился на Олега. Олег сидел красный от науги, чтоб не расхотаться. Но пересиливал себя, не хотал, даже заговорил, прикрывая рукой лицо:

— Привык, Иван, рано ложиться? У вас, верно, в это время спят?

— Спят! — с обидой повторил Ваня.— Поди поспишь! Дай бог, на зорьке вздремнуть час-другой. Хлеб возят на элеватор, зябь поднимают. Делов невпроворот опять же.

— То ж взрослые,— сказал Олег.— А вы? Вам что? Телевизоров у вас нет...

— Телевизор, верно, один. У Ванятки-бригадира,— ответил Ваня.— Да почто его летом газеть. Чай уборка, люди смеяться будут. Зимой смотри на здоровычко. А работа есть. Мы на комбайне работали, хлеб лопатили, солому копнили.

Ольга Петровна все так же улыбалась глазами из-под прищуренных век, в разговор не вмешивалась. Олег удивился:

— У вас электричество есть?

— Хватился! — сердито отозвался Ваня. Он отчего-то, как пришел в этот дом, как опахло его уютом, так и забыл свою робость. Ел за столом свободно, по комнате ходил неестественно. А сейчас вот даже рассердился.— Мы с батяней, как после стройки оправимся, телевизор первым делом купим. В кино-то надо за три километра шастать, а тут дома. И бесплатно опять же. Постановка там. Песни послухаешь. Чай, человека увидишь, а не то что по радио голос один слыхать.

— Ну и гуторишь ты, Ваня,— захохотал Олег.— Радио, делов, послухаешь. Что ж ты так говоришь-то?

— Дык,— усмехнулся Ваня и облизал с большого пальца масло.— Дык,— повторил солидно,— все у нас так гутарят в деревне.

— Ты же в школе учился.

Ваня опять усмехнулся:

— Дык, в школе-то, чай, зиму одну ходишь, осень там. На уроках, понятно, говорить не положено. А на переменках опять же...

Он не договорил.

— А радио-то у вас есть. Слушаете.

— Дык, что радио. Днем в школе, потом с ребятами надо погуртоваться, уроки там выучить. Потом мы больше песни слушаем. Вечерами председатель частенько наряд там дает, ругает кого, опять же по радио.

Поспехин замолчал, взглянул на Ольгу Петровну, увидел ее улыбку и, наклонив голову, перевернул стакан.

— Спасибочка.

— На здоровье, Ваня,— ответила Ольга Петровна.— Идите спать.

Ребята полезли из-за стола, пошли было в комнату, но в это время зазвенел звонок. Олег пошел открывать.

— Говорить, Ваня, грамотно тебе учиться надо обязательно,— сказала Ольга Петровна.— Культуре надо учиться.

— Культура, она нужна,— отозвался Ваня.— Я учиться не прочь. Я чего, Ольга Петровна, на токаря решил,— заговорил вдруг горячо и доверительно Поспехин.— Оттого и пошел, что

хочу культурно жить. Мы с батяней решили это поскореечко сделать. У нас в колхозе в мастерской токарь-то один. Один. Самоучка. А по сотенке огребает. Каждый месяц сотенку в карман кладет. А через годок я — вот он — ученый. Я старательный. Я до работы, Ольга Петровна, дюже жадный. Я по полторы, а то и по две сотни грабастать буду. Тут тебе и телевизор, и машинка ножная мамане, диван, гардероб там...

— Ты, Ваня, подожди,— остановила разошедшегося Пospехина Ольга Петровна. Но договорить она не успела: открылась дверь, и в комнату вместе с Олегом вскочил невысокий сухощавый человек. Человек был в майке и узких трикотажных шароварах, в тапочках на босу ногу. Ваню поразило его лицо да и вся фигура. Будто взял кто-то человека вначале за одно плечо, с маху рубанул наискосок топором. Повернул потом и снова рубанул наискосок по туловищу. После этого ударил сверху, сплюснул голову, а заодно и вогнал ее в плечи. И еще, видно, тот, кто тесал, зажал лицо человека в тиски, что ли, а когда закончил работу и стал вытаскивать, оно там прочно защемилось и поддалось не скоро. А когда подалось и вытянулось, получилось не лицо, а хищная мордочка с длинным носом. А когда ударяли сверху, для верности легонько тюкнули еще раз. От первого раза глаза у человека выскочили, а когда второй раз тюкали, глаза как раз на место вставали, да не успели, потому так и застыли — выпученными.

— Здорово, соседка,— сказал человек неожиданно густым басом.— Слышала о пополнении? Орлы ребята! Один будет у нас мастером, другой — инженером.— Человек уселся в кресло и продолжал: — Сидим мы с Алексей Василечем, план обмозговываем, заходят, голубчики. Я было рукой им на дверь махнул — некогда, а Алексей Василеч: «Слушаю!» Один такой красавец черноволосый смутился вначале, а потом эдак бойко: «К вам на работу!» Второй помалкивает. А у второго брови широченные. Румянец во всю скулу. Тоже хорош парень. Познакомились мы. Ветлов Вадим Игоревич — этот высокий, Русаков Сергей Родионыч — коренастый крепыш. Потом мы...

— Вы простите, Артем Иванович,— прервала словесный фонтан человека Ольга Петровна.— У нас вот уже и контингент в одном лице есть. Ваня Пospехин, будущий токарь.

— А-аа! — закричал человек обрадованно.— А-аа! Ну-ну. Мелковат, но ничего. Мал золотник, да дорог. Откуда, герой?

— Из деревни,— проронил Ваня.

— Из деревни? Хорошо. Люблю деревенских. Дисциплины больше. Я тоже, брат, когда-то из деревни приехал. В ФЗУ учился. Шесть месяцев — и на завод. Ты знаешь, что у нас за завод? Не знаешь? То-то! Думаешь, станкостроительный, и все?

Не-ет, брат. О-пыт-ный стан-ко-стро-и-тель-ный за-вод! Вот! Понял? Опытный!

Поспехин вконец растерялся и молчал. А человек говорил и одновременно тащил Ваню к креслу. Подтащил, уселся.

— Ты не робей, Иван,— продолжал человек и притянул Пospехина близко к себе.— Не робей. Робких бьют. Ты вот послушай историю. Пригодится.

Ольга Петровна собрала посуду со стола, пошла на кухню. Она уже, наверное, знала историю и знала, как долго она продлится. Олег сидел у окна. Отвернулся. Ване показалось, что сын Ольги Петровны смеется.

— Я вот вроде тебя приехал,— говорил между тем Артем Иванович.— Окончил ФЗУ — и на завод. Я ведь, брат ты мой, токарь. Токарь — это, брат, художник. Ты не шути. Тут нужен глазомер — раз! Чутье в руках — два! Хладнокровие — три! Голова — четыре! Смекалка — пять! В общем, это профессия интеллигентная...

Олег фыркнул в кулак. Артем Иванович поднял голову.

— Ты, Олег, не фыркай. Ну да ладно,— махнул он рукой.— Слушай, Иван, и на ус мотай. Пошел я работать на завод. Через годок стал особые заказы выполнять. Понял? Такую, знаешь ли, стал точить штукенцию,— он понизил голос,— к... пушкам. Понял? Заказ срочный. Станков у нас на заводе для этой штучки всего три было. Пойми, чужак-человек, три! А деталей этих мы всего шесть штук за три смены снимали. Понял, какая арифметика? То-то. Вот я мозгами и пораскинул, помарковал малость, прикинул, что к чему,— и к начальству. Давайте, говорю, мне вот такой конструкции резцы, создайте условия, измените вот так и так технологию. Не знаешь, что такое технология? Ну, узнаешь. Слушай дальше. Начальство послушало и сказало: подумаем. Неделью думало, а тут повыше начальство из Москвы — раз! Из самой Москвы, понял? Вечером совещание. Вот те два! — Артем Иванович уже отпустил Пospехина. Он, возможно, и забыл о нем. Он дергался, ерзал в кресле, кривлялся. Он даже причмокивал губами плотоядно и смачно. Не говорил, а ел. И ел так, словно не успевал жевать, а глотал и глотал, и все ему было мало.— Собирают передовиков,— захлебывался он словами.— А я тогда уже в передовиках ходил. Понял? Попросил я на совещании слово. Выложил все как есть. Три! Начальство послушало и одобрило. Один вы-ысо-окий начальник сказал только: «Не врешь, парень,— готовь дырочку на пиджаке». Орден, значит, ожидай. Понял? И что ты думаешь? Три детали начал я через недельку один, на одном станке и за одну смену вытачивать. Раз! Приехал через месяц самый высокий начальник. Фамилию ты его знаешь. Личность в историю

вошла. Ну да ладно, фамилию его я называть тебе не буду. В общем, оттуда,— показал пальцем на потолок Артем Иванович.— С верхов. Собрали митинг. Народ. Я на трибуне. При всем народе товарищ Помилуйко орден и вручили. Орден — раз! К ордену в придачку дачку — два! А в дачку приемник — три! Понял? Ты спроси, у кого в тридцать пятом приемники были? То-то! — Теперь, видимо, он наелся. Он вытер губы, прикрыл глаза и заговорил нараспев: — Потом в президиумы меня. В профсоюз меня. И на выставку меня. Делегатом — все меня. Да-аа!..— Он замолчал, откинул голову. Поспехину показалось, что у Артема Ивановича не только дрожат руки и вздымается грудь, но дрожит даже острый кадык — кадык, видно, тоже заново переживал случившееся..— А сейчас вас учу! — внезапно выкрикнул он. И что в этом крике было — не понять. То ли: учти, мол, кто я такой,— то ли: а теперь вот куда скатился.— Понял? — крикнул еще раз Артем Иванович.

— Понял,— подавленно ответил Ваня.

Пришла Ольга Петровна.

— Пойду я,— тихо и отчего-то печально сказал Артем Иванович.

— Посидите еще, Артем Иванович,— сказала Ольга Петровна.

Он постоял как бы в раздумье и вдруг снова заулыбался, забасил:

— Так слушай, Оленька. Слушай дальше.

— Идите, ребята, спать,— сказала Ольга Петровна.

Ребята прошли в другую комнату.

— Вот здесь мы с тобой и поспим,— сказал Олег, чему-то улыбаясь.

Поспехин огляделся. В комнате стояла кровать, напротив окна диван. Стол у окна завален книгами, радиодетальями, деревянными обрезками. На подоконнике лежали гантели. Стены увешаны картинами. Рисовал их, видно, не очень умелый художник, а может, и сам хозяин — картины Поспехина не заинтересовали. Но его заинтересовали висевшие над диваном несколько застекленных рамок с грамотами и дипломами.

— Это чьи же? — спросил Ваня.

— Мои,— ответил Олег.— За все понемногу. Дипломы: один — третий разряд по гимнастике, другой — второй разряд по конькам.

— Твои? — недоверчиво спросил Ваня.

— Конечно, мои, чудак,— засмеялся Олег.— Давай укладываемся на кровать, а я лягу на диване. Понял? — И опять засмеялся.

Ваня разделся. Лег. За стеной еще басил Артем Иванович.

— А кто ж на фотографиях? — кивнул Поспехин, указывая на стену напротив.

— Мать и отец,— ответил Олег.

— Отец-то где?

— В командировке. Благодарю бога, что его нет, а то бы он показал тебе, как чавокать и дыкать. Он у меня режиссер. Спи. Завтра я тебя в шесть подниму. У меня закон: в шесть зарядка. Понял?

Щелкнул выключатель, наступила тишина. Светились чуть-чуть стекла в рамках над диваном. За окном прямо на ветвях висела луна. Белели яблоки и звезды. Теперь было тихо и за стеной. «Артем Иванович, видно, ушел»,— подумал Ваня и не удержался, спросил:

— А к этому Артему Ивановичу учеником определиться можно?

— Он помполит. Помощник директора,— ответил Олег.— Раз. Майор в отставке. Два. Он тебе еще как-нибудь расскажет, как майором стал. Три. Спи. Четыре.

Поспехин замолчал. Взглянул еще раз на отблески на стеклах рамок, увидел на полу тонкий лучик света, пробившийся из-под двери, и сказал еще:

— Я батяне напишу, он вам ветчины пришлет.

Поспехин услышал, как скрипнул диван, услышал, вроде как Олег потянул с тумбочки очки, сквозь смежившиеся веки ему показалось даже, как они блеснули под лунным светом, промелькнула потом какая-то тревожная мысль, что сказал он сейчас что-то неладное, потом слышал будто бы голос Олега, но голос его был далеким-далеким, неясным, подумал еще, что, оказывается, Олег — спортсмен и вряд ли в случае чего он смог бы намять ему бока, как показалось вначале. «Придется, видно, и Олегу подчиниться»,— промелькнула мысль. Но все это его как-то не взволновало, его просто словно бы качнуло, он стал проваливаться куда-то, все падал и падал плавно, а может, и не падал, набирал высоту, а может, летел, не известно; он не мог этого сказать. Ему было хорошо. Ваня Поспехин спал.

## ПОСЫЛКА С ТОГО СВЕТА

В деревне Дубровке сравнительно много домов. Более сотни. Улицы одна. Широкая. Посреди улицы пышная от пыли дорога. После того, как в соседнем большом селе стало производственное колхозно-совхозное управление, дорога совсем не отдыхает; пыль на ней превратилась в пурень, как называют здесь местные жители что-то такое пушисто-легкое, обычно остающееся после хорошо прогоревшей соломы. Только пурень эта тяжелая, темная и под колесами телег поднимается чуть-чуть, ложится тут же, а вот после машин долго висит серой свинцовой полосой, оседает медленно, трудно, и не только на дороге, а до самых домов. Сейчас август — уборка хлебов, и пыль висит от рассвета до заката. Потому шла Матрена домой с поля вдоль реки, не села и в кузов последней машины с зерном, отправлявшейся от комбайна, на котором она работала копнильщицей. Взяла лишь горсть крупных ржаных зерен и теперь нет-нет да и взглядывала на золотистую россыпь в ладони, подносила к лицу, вдыхала спелый аромат, любовалась, шептала:

— С хлебом будем. С хлебом. Хорош батюшка уродился.

Она подошла к роднику, стянула с головы платок, прижала его под мышкой, вытащила другой рукой шпильку из волос, гребешок. Тяжелая коса свалилась на плечо, перевалилась на грудь, защекотала потную шею.

— Ах, тебя! — воскликнула с досадой, забыв про шпильку в губах, и шпилька тихо булькнула о воду. Тогда Матрена быстро-быстро причесала кое-как растрепавшиеся спереди волосы на пробор, закрутила на затылке так же кое-как косу, закрепила ее гребнем и наклонилась к роднику.

Шпилька лежала на дне, и с того места, где она лежала, торопливо поднимались мелкие-мелкие пузырьки, увеличиваясь по мере подъема. Достигнув поверхности, пузырьки расходились еле заметной рябью. Но не пузырьки привлекли внимание Матрены. Когда-то на дне этого родника лежала тоже шпилька. Возможно, на том же месте.

Когда это было? Весной. В июне. Был такой же жаркий день. Только не уборку яровых они кончили, а косовицу лугов...

Матрена наклонилась ниже к роднику и увидела не эту большую роговую, а ту маленькую металлическую шпильку. Увидела себя, склонившуюся над родником. Но не такую, как сейчас, — расплывшуюся, с лицом в мелких морщинках. От той сохранилась разве только русая коса, заплетенная в три тугих и крепких пряди. У той были глаза цвета этого родника, свежесть лица, как прохлада его воды, губы сочнее тех ягод, что краснели в росистой траве. Была она яснее той ранней зорьки, в которую они вышли на покос.

Упала капля на спокойную гладь родника. За ней другая. От маленькой капли побежали круги, смыли лицо девушки, что грезилось только лишь.

Матрена отерла платком слезы, тяжело разогнулась, но не в силах была встать и пойти. Она опустилась на прогретую землю, на буйно разросшуюся здесь, не скошенную вокруг родника траву, подобрала ноги под себя, уронила на колени руку с зажатым в кулаке платком, другую опустила на траву, не замечая, стала рвать, рвать ее, сжимая и разжимая пальцы. А сама все смотрела, смотрела на видневшееся вдали крыло ветряка.

Солнце вот так же тогда скатилось вниз, почти уселось на крыло. Неспокойное было время. Тридцатый год. Колхозы только организовались. У них в деревне три двора одиноличничали. В одном из этих трех батрачила шестнадцатилетняя Матрена. А батрачила или жила в семье — не поймешь. Отец погиб в восемнадцать, мать умерла. Взял ее к себе на воспитание Григорий Саватеев. Не богатый мужик и не бедный. Это к тридцатому году он разбогател. Росла, работала. Не обижали. За красоту ее, сноровку хозяин, можно сказать, любил. В пьяном виде куражился, не поймешь всерьез или в шутку кричал: «Расти, Матрена, быстрей. За сына отдам. Гляди, орел какой!» Сын Григория Саватеева Степан и впрямь парень ладный. Старше ее, Матрены, всего на три года. Рдело лицо ее при встрече со Степаном. А встречались часто: в одном доме жили.

Сдержал бы свое слово хозяин или не сдержал — неизвестно, у другого — зажиточного мужика в деревне тоже дочь росла, одноплетка Матрены. Та девушка не была красивой, но и недурна; возможно, в трезвом виде Григорий Саватеев все решил бы иначе. Кто знает, что и как бы он решил, если бы не тот день...

Закончили они косовицу, и побежала Матрена к родничку напиться. Напилась и загляделась на себя, замечталась о Степане.

И, словно в волшебном зеркале, увидела отражение лица любимого. Замерло у нее сердце, и не могла она слова сказать, хоть и видела руки Степана, протянувшиеся к ее волосам, чувствовала прикосновение этих рук. Ничего не могла с собой поделаться Матрена: застыла от счастья. Только сердце колотилось, готовое выскочить из груди, да билась-билась синяя жилка и маленькая родинка над ней. Сердце как бьется, не видно, а синяя жилка и родинка над ней в чистом роднике отражаются. Перед тем, как напиться, распахнула Матрена кофточку, чтоб грудь родниковой прохладой овевало, утром рубашку не надела, чтобы жарко так не было.

Опомнилась Матрена. Хотела вскочить, запахнуться, но болькнуло что-то в это время в воде. Увидела на мгновение свою шпильку на дне родничка, конец своей косы, шлепнувшийся о воду, повернулась стремительно и... замерла в объятиях Степана. Ох, как жарок и отчего-то так солон был их первый поцелуй! Ох, как надолго захватило дыхание!

И не помнит она, что было дальше. Помнит только, как открыла глаза и увидела темный силуэт на фоне неба.

— Степан! — закричала испуганно. — Стоит кто-то!

— Где? — испуганно выдохнул он и тут же, догадавшись: — Лежи. Ветряк. — И пояснил еще лениво: — Крыло от ветряка.

— Сердце выскочит, — шепнула она.

— Где? — спросил Степан и положил руку на то место, где все еще билась тонкая синяя жилка и чуть повыше — темная родинка над ней. У Матрены не хватило сил отвести его руку.

Потом он целовал ее глаза, губы, груди, а она гладила его спутанные волосы и только шептала между поцелуями: «Не надо, Степушка. Не надо. Твоя я. Не надо». Потом плакала. Шептала: «Стыдно, Степа. Что будет теперь? Шестнадцать мне ведь. Шестнадцать».

— Ничего не будет, — шептал Степан и добавлял громче: — Женюсь вот. То и будет.

Матрена вытерла слезы и увидела прямо перед собой крыло ветряка. Почувствовала вдруг боль в пальцах правой руки, с удивлением обнаружила, что вся трава с правой стороны родника вырвана.

Садилось солнце. Вот уже подул предвечерний ветерок, донес далекий шум то ли из деревни, то ли с поля. Сейчас не поймешь: последние дни жатвы озимых и шум работы кругом.

«Господи, как это я так, — сказала про себя. Поднялась, постояла, взглядываясь вдаль, вздохнула: — Что было, быльем поросло».

Повязала платок, наклонилась испить воду, увидела шпильку, хотела достать и раздумала.

— Пускай,— махнула рукой.

Она уже словно замкнула свое сердце и спрятала ключ. Полезь она за шпилькой, быть может, вновь нахлынули бы воспоминания, вновь пришлось бы вытирать глаза. А теперь на лице ее, кроме заботы и усталости, ничего не было. Так много пережившие горя женщины могут спрятать самое тяжкое на дне далеко-далеко и до самого того момента, который может появиться скоро вновь, а может не появиться совсем.

Солнце почти спряталось за мельницу. Тени от Матрены и от воткнутых в землю рядом с ней вил вытянулись до самой тропинки, по которой давно уже пора идти в деревню. Матрена увидела тени, спохватилась.

— Что же это я так, а? Времени сколько потеряла!

Торопливо поправила еще раз платок, взяла вилы, повернулась снова к родничку. Шпилька лежала на дне, и теперь уже не поднимались с того места, где она лежала, пузырьки, и ничто не тревожило спокойную поверхность прозрачной воды. Лежал родничок перед глазами Матрены, как хрустальный кристалл в зеленой своей оправе из сочной травы. И увиделся он Матрене каким-то задумчивым и даже печальным. И в первый раз Матрена подумала о смерти. Быть может, такие мысли ей навеяла сорванная в забывчивости трава по одну сторону родничка. Лежала трава небольшой кучкой: увядшая, потерявшая свою живительную сочность, свой яркий зеленый цвет. Она успела, видно, вобрать в себя голубизну неба и оттого казалась чуть синеватой.

Над родничком, полем, словно бы и над всем миром стояла в этот предвечерний час тишина. После жарких дней уборки, когда Матрена с рассвета до заката изо дня в день тряслась на копнителе, слышала только шум комбайна, тишина ее оглушила. И она вздрогнула, когда раздалось сытое коровье мычание. Матрена оглянулась. Вдоль реки, по другой ее стороне, к деревне шло стадо. Самой последней в стаде шла породистая, черная с белыми пятнами по крупу корова, призывно мычала. Стадо далеко, трудно было рассмотреть, есть ли у этой коровы рога, но Матрена почему-то решила, что корова комолая и точь-в-точь такая, какую она облюбовала купить в соседнем селе.

Давно этого хочет Матрена. Как сын ни велит в каждом письме жалеть себя, лучше питаться, она экономит на всем, чтобы к его приезду купить корову. В прошлое воскресенье, хоть и жаль было потерянного дня, с утра до вечера «прогостила» в соседнем селе. А день этот ей ох как был нужен! С трудом успела она бригадира поставить ее, пятидесятилетнюю женщину, на копнитель. Как ни упирался бригадир: «Тяжело в такие годы с утра до вечера на мостике трястись, пыль глотать,

вилами орудовать»,— упросила. Тяжело, конечно, но зато на копнителе заработок высокий. А деньги ей нужны. Пятнистая корова в стаде за рекой замычала вновь. И Матрена теперь отчетливо представляла, как и ее корова вот так же будет идти, мычать, просить выдоить из большого, набухшего вымени молоко. У Матрены даже зачесались ладони от нетерпения, зуд появился в пальцах. Так бы сейчас и потянула за соски, услышала бы, как тугая струя ударится звонко о дно подойника. А за первой струей другая, третья, четвертая все глуше, глуше зарывалась бы в теплую, парную пену. А когда ведро наполнилось бы до краев, Матрена отставила бы ведро в сторону, вытерла бы вымя чистым полотенцем, помяла бы его еще, потом взяла бы алюминиевую кастрюльку с ручкой (давно припасена такая) и непременно после массажа надоила полную. Сказала бы: «Слава тебе, господи!»— и пошла в избу с полным ведром и полной кастрюлькой молока. Ведро поставила бы на лавку, в уголок: пусть пена осядет, а потом уже можно процедить, наполнить процеженным молоком кринки и отнести на отстой в погреб, а до этого отлить из кастрюльки молока кошке в плошку, плеснуть немного в корытце, где месиво для поросенка, остальное процедить в литровую кружку— это для Маринки, внучки, пусть сколько хочет пьет. Сама тоже не откажется: парное молоко очень полезное. А отслужит Федор, вернется из армии, так пусть пьет сколько хочет.

Стадо скрылось за поворотом реки. Матрена вскинула на плечо вилы, но тут же и сбросила их. Размотала с пояса тонкую бечевочку (она всегда ее наматывала под кофточку: вдруг пригодится), собрала траву, связала вязаночкой. Когда пошла к деревне, уже совсем длинная тень шагала справа от нее, а когда подходила к лощине, тень исчезла совсем. Солнце село, и только пламенел закат.

«Хороший день завтра будет! — отметила про себя.— Можно и Маринку с собой взять. Все хворостиной корову-то подгонит».

Матрена хотела повернуть вправо, чтобы пройти три огорода, там свернуть на свою межу, но остановилась и вдруг заторопился влево, к плотине, туда, где темнел густо разросшийся малинник.

«Банка-то одна так неполная и стоит,— думала она по пути.— Некогда было. Уборка. Пойду доберу». Думала, а сама доставала из-за пазухи полиэтиленовый мешочек. «Молодец дочка, что оставила. Мелочь, говорит, а он вот так мне сглождается». Когда подошла к малиннику, внимательно осмотрела мешочек: «Не порвался ли?»— и, не обнаружив изъянов, шагнула в заросли.

Жгла огнем ноги крапива. Жгла руки. Но Матрена шла, не обращая на это внимания, дальше, вглубь, туда, где малина еще не обобрана. Вдруг под ногой что-то хрустнуло. Она раздвинула заросли, наклонилась и увидела рядом с ногой белую горку яиц.

— Господи! — вскрикнула обрадованно и тут же вскочила, оглянувшись украдкой вокруг. — Никого.

Хотела было сложить яйца в полиэтиленовый мешочек, раздумала. Одно яйцо за другим стала бережно складывать за пазуху.

— Пара, две, три... — шептала она. — Девять пар, да раздавила одно. Почитай, два десятка.

Торопливо поднялась и, забыв про малину, пошла из зарослей. «Это же как-никак два рубля по нынешним временам, — думала она, подхватывая вязаночку травы, вытаскивая из земли вилы. — Приезжих сколько шоферов на деревне. Два рубля непременно возьму».

Она заторопилась к дому, но вдруг ее ожгла мысль: «А как же я это яйца-то взяла? Мои куры, почитай, и не ходят сюда». Она нерешительно остановилась, повернулась было к малиннику. «Гнездо-то теперь не найду. А, — махнула рукой, — простят мне люди добрые. Да и цыплята, колы вывелись, ни к чему. Загибли бы осенью, не успев подрасти».

Успокоив себя так, она скоро свернула на межу своего огорода, но, дойдя до разросшегося куста сирени, остановилась. Опять сбросила вязаночку травы на землю, воткнула рядом вилы. Подумав, развязала веревочку, траву подвинула дальше под куст. И снова стала выкладывать яйца по парам. «Завтра возьму, а то не ровен час в доме кто. А у меня яиц полна пазуха. Стыдно».

Скрипели ворота скотных дворов, еще не успокоилась скотина, где-то гортанно гоготали потревоженные гуси, скрипнуло колесо телеги, послышалось сердитое: «Тпру-у!»

— Ванька, Петька, Мишка, домо-ой! Ужин на столе! — прокричала соседка Матрены.

— Маринка, Маринка, где ты запропастилась? — позвал старческий голос. Это звала девочку старая Саватеиха.

Саватеиха — мать Степана. А Маринка — внучка ее, Матрены. Дочь Лиза второй год привозит ее на лето в деревню. Маринке восьмой год. Саватеиха Маринке не бабушка, а прабабушка, и Маринка зовет ее по-своему: Вторая бабушка.

«Замучились они за эти дни без меня, — подумала Матрена. — Старый да малый».

— Маринка! — позвала снова Саватеиха.

«Да чего ж это она не слушается, озорница?» — рассерди-

лась будто бы Матрена, а сама улыбалась: знала, Маринка ее ждет.

А Маринка и впрямь ее ждала. Не успела Матрена вывернуться из-за угла, как Маринка бросилась к ней, торопливо-торопливо, забыв поцеловать бабушку, зачастила:

— Нам посылку прислали. Большущая! И тебя Маруся-почтальон ждет. И еще...

— Да что же ты, моя пичужка, торопишься так! Вот и хорошо. Конфеты тебе мать с отцом прислали.

— Не мать с отцом, не мать с отцом,— запротестовала Маринка.

В доме горел свет. У крылечка, опершись на палку, стояла Саватеиха.

— Припозднилась что? — спросила.

— Пришлось так, мамаша,— ответила Матрена и хотела было пройти в сени следом за Маринкой, которая уже успела вбежать в комнату и кричала: «Бабушка пришла! Бабушка пришла!»,— но старуха взяла Матрену за руку, потянула вниз. Когда Матрена наклонилась, услышала шепот:

— Посылку там принесли.

Оттого, как это было сказано — шепотом, с оглядкой,— у Матрены часто-часто забилось сердце. И она, сама не зная отчего, так же шепотом, словно в предчувствии какой-то неясной беды — «Уж не Федькины ли вещи?» — спросила:

— С Федькой что?!

А у самой мелкой дрожью задрожало тело, подогнулись колени, сухостью опухло рот и губы.

— От Федора письмо,— словно сердясь на непонятливость Матрены, отмахнулась Саватеиха.— Сулится осенью дома быть. Оттуда посылка,— подняла старуха палку и показала куда-то неопределенно, точно в небо.

— Скоро вы там? — сердито окликнула Маруся-почтальон.

— Иду,— ответила Матрена и, на ходу стаскивая с головы платок (так вдруг жарко стало), шагнула в сени.

— Жди тут вас! — сердитым голосом встретила Маруся Матрену в комнате, но, увидев растерянность хозяйки, ее испуганные глаза, смягчилась.— Что ты как запаленная? На вот, распишись и получи.

Матрена увидела большой ящик на столе, знакомую бумажку — извещение,— которую получала не раз, недоуменно оглянувшись на Саватеиху, вытерла с лица пот и взяла дрожащей рукой, так и не справившись с волнением, ручку.

— Где расписаться?

— Вот здесь,— показала Маруся и добавила:— А ты скрыт-

ная, Матрена. Богатых родственников имеешь за границей и ни гу-гу.

— За какой еще границей?

— Посылка из самой что ни на есть Америки,— засовывая извещение в сумку, засмеялась Маруся.— Покажи, чего прислали, или одна будешь смотреть?

— Погоди,— заволновалась Матрена.— Скажи, чего мелешь-то?

— Чего молоть! Смотри: «Бруклин. США».

— Господи, ничего не понимаю! — беспомощно оглянулась Матрена на старуху, на Маринку.

— Нечего и понимать. Получила — распечатывай. Завтра похвались,— засмеялась Маруся.— Пойду. Будьте здоровы. Муженек все глаза теперь проглядел, меня ожидаючи, и корова не доена.

Маруся ушла. Матрена присела на лавку, уронила одну руку на стол, другой стала гладить-перебирать волосы прижавшейся к ней головой Маринки. Вывел ее из задумчивости голос Саватеихи.

— Получила. Теперь чего ж. Упредить хотела у крыльцато тебя. А ты сгальная. Не послушала. Не надо было получить-то. В Совет допреж сходила бы, посоветовалась. А ты за ручку и на тебе — подписываться Грамотейка!..

— Думала, от дочки посылка.

— То-то и оно, что не думала допреж. А теперь...

— Да я отнесу ее сейчас. Зачем она мне? — заторопилась Матрена.

— Чего относить? — прикрикнула старуха.— Не бонба там. Распечатай.

— Распечатывай, распечатывай, бабушка,— запрыгала радостно Маринка.— А ты, Вторая бабушка, не ругайся. Вот.

— Ты, стрекоза, помолчи. Я вот палкой тебя,— погрозила Саватеиха.

— А вот и не палкой. Я папе скажу,— не осталась в долгу Маринка.— Не грозись.

— А вот и палкой,— двинулась от порога Саватеиха, но пошла только затем, чтоб незаметно коснуться-прободрить этой палкой Матрену.

— Распечатывай.

И Матрена встала. Достала из стола кухонный нож, начала распаковывать. Пахнуло из посылки чем-то незнакомым, непривычным, чужим. Зашуршала сверху толстая бумага в рисунках. Под бумагой зашелестел конверт. В конверте толстый, плотный лист бумаги. Дальше голубого цвета материал. На ощупь не поймешь, шерстяной он, шелковый ли. Матрена не стала его

рассматривать, а сразу отошла к лавке, села, развернула плотный лист бумаги.

«Добрый день или вечер, дорогая соседка Матрена Ивановна. Поклон твоим деткам Елизавете и Федору, если в добром здравии. Посылаю вам материалу штуку, два платка шелковых, ковер еще. Имя не называю свое, но близкий вам человек поклон шлет. Живу я допрежь в несколько раз лучше самого Сурка. А вы, слыхаты, Панюшку-кривого перецеголяли. Теперь можно помочь. Помогу. За первой ждите вторую весточку.

Писать много опасуюсь. Кланяюсь на том.

Ваш близкий сосед».

Долго стояла в комнате тишина. Звенящая тишина. Слышно, как на насесте возились куры, как вздыхали овцы во дворе, как отдувался в клетки поросенок. Глядя на старших, притихла и Маринка. Не поднимала головы, навалилась на палку Саватеиха. У Матрены копились, копились в глазницах слезы и вдруг побежали одна за другой по щекам, упали на пыльную кофточку.

Ох, как знакомы эти слова о Сурке, о Панюшке-кривом! Еще в первом письме с фронта, в первом и единственном, когда он где-то под Вологдой проходил обучение, писал намеками. Писал, что живет хуже Панюшки-кривого и скорее бы на фронт. А там... Что там, не писал.

— Эти... самые... мериканцы-то,— медленно, с трудом, словно выталкивая каждое слово, заговорила Саватеиха,— за морем живут? Далече аль как?

— Не «далече», Вторая бабушка, а далеко,— не удержавшись, поправила Маринка.— И не за морем, а за океаном.

— За акияном, внучка, говоришь?— все так же медленно продолжала, не поднимая головы, старуха.— Далече Степка убежал. Далече. Крепко, видать, испужался. За акиян уплыл...— Она поднялась, прошла к лавке, где сидела Матрена, уставилась слезящимися глазами в простенок, поверх Матрениной головы, приложила даже к глазам руку козырьком, словно всматриваясь вдаль.

Матрена не подняла головы. Она знала, что там, куда смотрит старуха, два портрета. Там, на этих увеличенных фотографиях, муж старой Саватеихи и ее сын.

— Эх, Степка, Степка,— заговорила вновь старуха.— Не было в роду у нас трусов. Ты первый и, бог даст, последний. Дед твой в пятом году японцев на штыке, говорят, через себя бросал. Отец твой с «Георгием» с ярманской пришел. А ты за акиян подался. Расею-матушку спокинул. Матери своей поклон не шлешь, об отце упомянуть боишься. Видно, большой грех

носишь за душой. Мать твоя — вот она — живая, а ты двадцать годков и больше мертвяком притворялся. Двадцать годков я тебя, раба божьего, денно и ночью за упокой в молитвах поминала...

— Бабушка, бабушка, — тормошила за руку Маринка Матрену. — Вторая бабушка заговаривается, да?

— Иди спать, внучка. Спи. А то за короной завтра с собой не возьму, — сказала Матрена и повела Маринку к кровати.

Отдернула ситцевый полог, положила ее, забыв раздеть, в постель, а сама вернулась к столу. Но на том месте, где она только что сидела, сидела Саватеиха, и Матрена притулилась рядом, обняла старуху за плечи, и они, раскачиваясь из стороны в сторону, долго и беззвучно выли по-бабы. А когда в полночь погасла лампочка — колхозный движок прекратил работу, — Матрена, бережно поддерживая старуху, отвела ее к лежанке, помогла взобраться на нее, поправила под головой подушку, сказала:

— Усни, мамаша.

Старуха похлопала в ответ несколько раз по ее руке, и Матрена молча, не сказав больше ни слова, отошла от лежанки, прилегла, не раздеваясь, рядом с Маринкой. Но не належала долго. Встала, вышла осторожно, чтоб не скрипнуть дверью, в сени, потом на крыльцо. Села на ступеньки.

Сегодня по деревне не мчались, как в прошлые ночи, машины с зерном, не провожали их хриплым лаем собаки. Сегодня люди отдыхали, отдыхали машины у дворов, где квартировали приехавшие на помощь шоферы; спали дома, вытянувшись, отдыхая, белая дорога, спали белые деревья, спала сама лунная ночь крепким сном труженика. Спал и дом напротив Матрениной избы. Большой, пятистенный дом на кирпичном фундаменте. В восемь окон по фасаду, крытый железом, сработанный из толстых, чуть ли не в обхват бревен, бывший дом Григория Саватеева. С тридцатого года в этом доме никто не живет. В нем колхозный клуб.

Блестят оконные стекла, темнеет лишь одно окно. Угловое. Угловое окно скрыто высоким, раскидистым тополем. Тополь серебрится, как и в ту ночь...

...После случая у родника тайком от отца вот через то темное окно лазил к ней в комнату Степан. Прикипела душой и телом Матрена к Степану. Похудела лицом, горели только горячечным блеском и без того большие, а теперь ставшие еще больше ее васильковые глаза. Прикипел к Матрене и Степан. До утра в залитой лунным светом комнате, тогда этот тополек еще крошечным был, слышался их горячий шепот. Сколько бы-

ло переговорено в те ночи, какие только радужные планы не строили они, передоверяя друг другу свои мечты!..

А в одну из таких ночей заизвивался Степан на подоконнике, не успев перелезть в комнату, закричал дико от внезапной боли. То сам Григорий Саватеев наградил со всей силы наследника конской уздечкой вдоль спины. Вскочил все же Степан в комнату. Но вскочил за ним следом и его отец. Не успел Степан крюк с кольца скинуть, чтоб улизнуть от отца, как снова Григорий замахнулся уздечкой, но ударить не успел. Прыгнула с кровати Матрена, загородила любимого руками, крикнула:

— Не дам!

Замахнулся Григорий уздечкой на нее, но не ударил. Вместо того сказал медленно, с расстановкой:

— Ну... ладно!

Потом постоял, добавил:

— Ляжь в постель, бесстыдница Нечего титьки голые показывать. А ты, жених, бери уздечку,— бросил уздечку ему в лицо,— иди лошадь запрягай. За работой охладись малость. Дурная кровь, глядишь, потом изойдет.

Они ушли, а Матрена упала на кровать, и ее стал бить мелкий-мелкий озноб. Она дрожала вся. Прижимала руки к лицу, к груди, сжимала кулачки, закусывала одеяло, чтоб прекратилось противное клацанье зубами, откидывала голову на подушку, стонала и все-таки слышала даже в этом состоянии, как загремела по двору телега. Она нашла в себе силы встать с постели, выглянуть в окно. Да, на телеге лежали распорки — поехали за сеном.

— Куда вы? — крикнула она.— Нельзя же!

В ответ Григорий Саватеев хлестнул кнутом, лошадь с места рванула вскачь, и телега шибко покатила по дороге.

А на рассвете, когда Саватеевы привезли огромный воз сена, во двор пришел председатель колхоза, спросил:

— На каком основании единоличник Саватеев возит сено с колхозных лугов?

— Я это сено косил? — заорал Григорий Саватеев.— Делянка моя.

— Тебе не разрешили косить. Скосил — твое дело. Вступай в колхоз — трудодни за работу начислим.

— А-аа?! — заорал Саватеев-старший и начал охаживать с плеча председателя кнутом.

Зря это сделал Саватеев. Не раскулачивали его, знали, что воевал против белых, нажил богатство трудом, знали: поймет Саватеев, вступит в колхоз, но получилось иначе.

На второй день поехал Григорий Саватеев со всей семьей в «места не столь отдаленные», как говорили тогда.

Осталась Матрена. Предложили ей половину дома. «Живи,

Матрена. Чай, и твой труд в этом доме есть». Ушла Матрена к одинокой старушке вот в этот дом, где и сейчас живет. Родила дочку. Работала в колхозе. Сватали и с дочкой — не шла. В тридцать шестом, после похорон как раз старушки, зимней ночью постучался к ней кто-то в окно. Пошла, открыла дверь и повисла на шее высокого, плечистого мужчины. Сразу узнала, хоть и прошло шесть лет. А когда нарвелась на его груди, заметила позadi Степана и старую Саватеиху. Обняла. И стали жить вчетвером.

— Отец,— сказал Степан,— решил на Севере остаться. Тут, говорит, тоже люди живут. А возвращаться, чтоб на свой дом глядеть, сердце кровью изольется. А мне и здесь будет хорошо. Руки работают, будет и дом.

— А я, милая, приехала на родимой сторонке умереть,— сказала Саватеиха.— Положите через годок рядом с родной матушкой, и спасибо. Чай, ее могилка-то еще не затерялась.

Через год Григорий Саватеев прислал письмо: «Искупил честным трудом свою вину. Домой не приеду. На Украине буду жить. Приезжай, старуха, новую жизнь начинать».

Погиб в партизанах в Отечественную Григорий Саватеев, а жена его жива. Жив, оказывается, и их Степан, муж Матрены. Сначала его из-за руки целый год на фронт не брали, а в сорок втором получила Матрена казенное письмо, в котором сообщили, что Степан Григорьевич Саватеев в первом же бою пропал без вести. Ждали оттого все годы — а вдруг объявится? Потом ждать перестали. И вот дождалась...

— Матрена, иди в избу,— услышала Матрена зов старухи. Обернулась.

Старуха стояла рядом и смотрела тоже на большой, пятистенный дом.

— Правда аль нет: слыхала я, деревню нашу сносить будут?

Матрена поняла, что спросила об этом старуха просто так, чтоб только отвлечь ее от тяжелых мыслей и, возможно, отвлечься от них самой. И Матрена ответила: «Нет»,— хотя знала, что старуха не ждет другого ответа. Еще зимой, когда на собрании предложили всем, кто желает, брать лес под ссуду, кирпич, шифер и строить в своей ли деревне, или на центральной усадьбе, они длинными ночами обговаривали этот вопрос. Решили строиться здесь же, на старом месте, вот только дождутся, когда Федор вернется из армии.

Старуха присела рядом на крыльце. Долго молчала. Наконец обронила тихо:

— Не сказывала тебе. Степка тогда нарочно руку-то под дерево сунул. Уехать чтоб.

Да, помнит Матрена. Пришли они, разделись. Степан из заплечного мешка достал гостинцы. Поставил на стол бутылку водки. Сели за стол. Разлили водку. Взял он стакан правой рукой, выпил. Пригубили и они. Правой же полез за огурцом, а левую все под столом прятал. Правой же полез и за грибом, соскользнул гриб с вилки, подхватил его Степан левой и тут же заметил испуганный Матренин взгляд. «Деревом случайно придавило»,— сказал. Ох, как, когда они легли спать, целовала Матрена эту изувеченную руку! Как целовала! А оно вот как. Сказал бы он ей все честно тогда, может, и простила бы: подумала, что из-за нее.

— Портрет-то со стены снимешь аль как? — опять спросила старуха.

Матрена промолчала

— Завтра в церковь пойду,— не умолкала старуха.— Из поминания-то его вычеркнуть аль как?

— Кого?

— Его. Кого же?

— Как хочешь.

Старуха помолчала и снова все тем же равнодушным голосом:

— За коровой-то завтра пойдешь?

— Пойду.

— Дом-то без присмотра останется. Может, в церковь не ходить, дома помолюсь?

— Как хочешь.

— Ну, дома помолюсь. Да и стара я стала ходить-то. Еще умрешь на дороге... Видно, так ему на роду написано. Двадцать лет поминала. Пусть..

Чирикнула птичка. Скрипнул колодезный журавель. Стукнулось гулко о воду ведро. Они и не заметили, как наступило утро.

— Письмо-то от Федора читала?

— Нет, мамаша.

— Ну, так я принесу.

Саватеиха ушла, а Матрена задумалась.

«Федор. В кого ты, сынок? Лицом в меня, статью в него. А характер чей? Родился ты в грозном сорок втором. И твои глазенки не помнят того, кто склонялся над твоей колыбелью. И хорошо, что не помнят. Сколько ночей я рассказывала тебе об отце, а ты хотел все больше и больше. И я припоминала каждый день, каждый час, каждое его слово, и ты даже воскликнул однажды: «Я помню, мама, отца! Он сильный, красивый! У него была колючая-колючая борода!» Тебе было два месяца, когда он

ушел на войну, и где тебе помнить, сынок, о нем, знать, какая у него борода.

Я знала, что он пропал без вести, а думала, что жив. И как долго мы его ждали с тобой! Он и впрямь жив. Он и впрямь объявился. Пишет, что живет лучше Сурка, а мы Панюшку, слышал, перещеголяли. А Панюшка-кривой до революции последним нищим был. Сурок — лавочник, обирала.

Соседом назвался. И впрямь сосед. Какой сосед!.. Нет, ты, сынок, не такой. Ты в малолетстве за товарищей горой стоял. Ты, сынок...»

— На вот, принесла,— протянула Саватеиха письмо.— Рассветло совсем. За коровой, если впрямь собираешься, пора. А то стадо далеко угонят, до обеда придется ждать.

— Корову хозяева сегодня на дворе оставят.

Матрена встала. Прошла в дом. Осторожно, чтоб не разбудить Маринку, отперла замок на сундуке, откинула крышку, достала из-под белья сверток.

— Пересчитай деньги-то,— посоветовала старуха.

Матрена развернула сверток, разложила деньги на столе. Посмотрела, вздохнула негромко, отложила несколько бумажек в сторону, остальные снова завернула в холстину. Прошла к сундуку, положила деньги на старое место, опустила крышку, навесила замок.

— Что ж корову-то раздумала покупать?

— Сама говоришь, за морями Америка. Далеко. Отослать посылку, верно, будет денег стоить.

— Не знаю, Матренушка.

— И я не знаю.

Матрена умылась, сменила юбку и кофту, повязалась новым платком, взяла еще и большую шерстяную шаль. Шаль расстелила на столе. Поставила на нее посылку, завязала шаль узлом. В один из уголков шали завязала и деньги.

— Пойду в район. Там знают, поди, как посылки за границу отправляют. Да письмо, мамаша, от Феди дай. Дорогой почитаю.

Они вместе вышли на крыльцо, прошли по двору, свернули за угол. Матрена впереди, старуха, тяжело опираясь на палку, следом.

— Ну, бог тебя храни,— перекрестила старуха Матрену.

И Матрена пошла.

Солнце вынырнуло из-за горизонта не в дымке, а сразу ясное, чистое, словно умытое. Оно было таким, каким часто появляется в восточной стороне неба в ведреные летние дни в средней полосе России.

## СНЫ СНЯТСЯ ДОЛГО...

Теперь ей особенно часто стали сниться сны. Так бывает у многих, когда наступает глубокая осень и ночи становятся длинными, а дни ненастными и серыми. Тревожно как-то на душе, тревожен отдых и беспокойны сны. И сны ли это? Вот и сегодня разгулялся вдоль поселка ветер с дождем, быстро стемнело, голые ветви яблони нет-нет да постучат по окнам, завывает что-то в печной трубе, подскуливает за дверью собака.

Одна...

Совсем одна...

Ноги опухли, налита тяжестью голова, ломит в пояснице, и болит, будто избитое, тело. Она грузно ступает по комнате в белой ночной рубаше, похожая на оплывшую снежную бабу. Ли-хорадочно горят глаза, колышется рыхлая грудь да похрусты-вают сцепленные пальцы.

Кто ее обидел: жизнь, люди?.. Может, судьба?.. Незачем ей, семидесятилетней женщине, думать об этом. Не сегодня-завтра придется сложить на груди руки, конец. Конец?.. А кому останется все? Все! И дом, и добро, и нажитое — кровное, заработанное вот этими трясущимися, узловатыми руками. Скажите: кому?

Она с трудом прилегла на кровать, закрыла глаза. И то ли во сне, то ли наяву поплыли туманные, знакомые картины...

Трясется пол, дрожит изба. Мать обнимает мужика с бородой, а тот рвется, раскинув руки, плясать.

— Пусти, сватья, сына жению! Двадцать годочков ждал. И-их!

Она сидела в переднем углу, не дотрагиваясь до еды, краснела до слез, чуть скосив глаза, видела русский чуб, щеку в румянце, крутое плечо и рукав кремовой атласной рубашки.

— А ну, молодым на заведение! — с подносом зашагал вокруг стола дружок жениха.— Не ленись, доставай молодым на каравай! Принимаем сколько-нисколько — от коровы до иголки.

Летят смятые деньги, ложится сверток ситца, с хохотом высыпают на стол погремушки.

— А что родители молчат?

— Мы вот.

Блестящий самовар встал посреди стола перед молодыми.

— Вот вам наше родительское,— гудел мужик с бородой.— Чтоб детишек поболе, чтоб росли в счастливой доле, с родителями сидели да за самоваром потели. Примите, дорогие детки.

— Налей, дочка, гостям по первому стаканчику чайку-то. Сладок аль горек покажется — смотреть будем.

Она встала, откинула за плечо, будто облачко мелькнуло, белый шарф, налила стакан и с поклоном подала мужу, второй свекру, третий матери, четвертый... и лилась из крана пенная брага.

— Горько!..

Она очнулась от сна счастливая, в слезах. И улыбалась: а ведь было так, было.

Приподнялась, облокотилась на подушку, глянула в окно. Ветер стих, дождя не слышно. Совсем стало темно, лишь вдалеке светилось небо. Там завод.

«Чугун выпускают»,— отметила про себя, когда небо над заводом стало разгораться ярче и ярче.

Потом долго-долго смотрела в ответ, пока он не стал гаснуть. Улеглась. Смотрела неподвижно в потолок широко открытыми глазами, порой выпрастывая руку из-под одеяла, чтоб смахнуть накопившиеся слезы.

Как оно там дальше-то?

После такого сна хотелось вспоминать, вспоминать...

Война, революция... Ходила она тогда рука в руку с мужем на митинги, пела революционные песни, шла голодная на субботники. Родился сын Вовка, за ним — дочь. Дочь появилась на свет перед праздником седьмого ноября, а в праздник после митинга пришел к роддому весь литейный цех, где они с мужем работали, пришли, как были, с плакатами, флагами и оркестром. Она подошла тогда к окну и показала ребенка. Няня крикнула счастливому отцу: «Дочь!» Оркестр грянул «Интернационал». Потом секретарь партячейки поднял руку, произнес речь, а в заключение предложил назвать в честь праздника Октября «пролетарскую» дочь Октябриной.

— Господи!

Она отвернулась к стене, закрыла глаза...

Ее домик, огороженный невысокой оградой, стоял среди развесистых яблонь, на самом краю поселка. Ограда заканчивалась у оврага, по ту сторону его вплотную подступали новые много-

этажные дома. Вчера был дождь, а сегодня мороз затянул лужи — в них играло солнце. Машины, выбираясь из оврага, не завывали натужно и зло, а деловито-легко похрустывая шинами на неокрепшем ледке, тащили плиты на строительную площадку.

Она вышла к калитке, осмотрелась. Из соседнего дома выбежали девушки и замахали проезжавшей машине.

— Подбрось, опаздываем!

Машина стала. Девушки полезли в кузов, и скоро машина исчезла за поворотом.

— Доброе утро, бабушка!

Сдвинув папаху на затылок, прошагал соседский Сашка. Этот торопился в институт

— Здравствуйте,— хором пропели девочки. Эти спешили в школу.

— Понимал бы ты, Вовка,— насканивал высокий, в очках мальчишка на плотного крепыща.— Папка говорил, космонавт может быть любого роста.

— А Гагарин и Титов одинаковые!

Высокий замолчал.

Она постояла еще и неторопливо пошла в дом. Растопила плиту, сготовила обед, накормила кошку, вновь вышла к калитке. Сейчас придет почтальон. Девушка. Вот и она.

— Здравствуйте.

— Будь здорова, дочка.

— Пенсия завтра, бабушка.

— Знаю, дочка.

Она пошла в дом, села за стол, потом открыла верхний ящик комода. Посидела перед ним, опустив руки. Ей давно известно, что где лежит, но вновь принялась перебирать вещи. Шепчет, думает.

— Внизу шерстяные отрезы — эти всегда сгодятся. Здесь ситец. Почитай, не носят его, такой-то, теперь: мода вышла. И туфли не такие. Теперь с острым носком пошли, а эти вон какие тупорылые. Дочка-то у меня все сносит, чтоб мать не обидеть, а переживать в душе будет. Часы-то малюсенькие, золотые — эти всегда сгодятся... Это лиса. Почитай, не носят теперь, а после войны как их на плечи любили накидывать!.. Три платья с плечиками. Опять же не носят. Может, отдать тем девчонкам, что напротив живут, поди, из деревни? По себе знаю, приодеться хочется, а где ж... Не сразу. Может, перешьют по моде? Перешьют. Этак и Октябрина перешьет. Платья — чистая шерсть. Никак, мошь проклятая...

Встала тяжело, подошла к окну. Облегченно вздохнула. Все уложила на место. Села.

— Ситцу-то, дура старая, много накупила. Зачем столько? Вот этот — цветочки сиреневые по небесному полю — отдам. Отдам. Нет, это Октябрине к глазам. Как я тогда сшила ей кофточку, в третий пошла. Белую... А батистовый бантик точно такой сделала. Ах, как к лицу-то было! Такой ли?

Она потянулась к нижнему ящику, но рука опустилась. Ящик остался неоткрытым — она и так видела в нем все. Внизу белье, потом пальто, костюм Володи, три его рубашки, на самом дне детское их, недоношенное. Пригодится внучатам.

Долго сидела так. Потом встала, оделась.

«Магазин открыт, а я опоздала. Завтра пенсия, может, чего посмотрю». И заторопилась.

Закрывает дом, калитку, с трудом переставляя ноги, опираясь на клюшку, пошла к мосту через овраг.

— Вишь, на девчонке пальто-то внизу широкое и туфли — каблук, что иголка, право слово. Придется тупорылые продать. Не купят еще.

Разволновалась и сразу устала. Остановилась отдохнуть, смотрела на прохожих. Думала.

В домах зажигались огни, когда возвратилась домой. За день вновь подтаяло. Промокла, ее знобило, и еще сильнее болели ноги. На новом доме увидела вывеску «Сберегательная касса», рассердилась:

— Чего таскаться? Вон куда надо деньги. Чего захочет, сама купит. Ах я, старая скопидомка!

Скулила голодная собака, простыло в комнате. Дала собаке еды, сама выпила чаю, легла на кровать. Закрывает глаза. И снова ночь. Долгая ночь...

Стоит она простоволосая на станции, рвет за душу паровозный гудок, плачет, заливаясь гармошка. Идут, обнявшись, молодые ребята. «Последний этот вот часочек гуляю с вами я, друзья...» Рыдает, обхватив шею мужа, женщина, а рядом растерянный длинный парень повторяет: «Ну что вы, мама, что вы» — и оглядывается.

— Береги себя. Береги. Не надрывайся. Жди только. Мы придем,— повторяет муж...

— Что это со мной сегодня? — прошептала. Сухие глаза открыты.— Как это было дальше?

А дальше было, как у многих... Пришла вечером с работы Октябрина и села молча в углу. В дрожащих руках конверт, запекшимися, сухими губами поцеловала мать.

— Не плачь, мама.

— Кто?! Да не томи ты. Отец?..

В ответ покачала головой.

— Вовка?! — закричала и схватилась за горло. А глаза молили, умоляли: скажи — нет, скажи — нет.

— Оба.

На стол легли два одинаковых листочка бумаги. В одной роте служили.

С тех пор она перестала работать — отказывали ноги. Вскоре ушла на фронт Октябрина. Дом опустел. Теперь она не стояла над окопами с землей, а сидела в табельной. Там и, заснув, часто ночевала. Она не удивилась, когда ей принесли третий листочек, и, не читая, положила в карман. И лишь когда все ушли, стала читать: «Пропала без вести...»

Пропала без вести... Эта, может, еще жива.

И сейчас, когда она вспомнила об этом, сердце забилось часто-часто. Она закрыла глаза и впервые отчего-то в этот вечер с яркой отчетливостью поняла, что дочки ей не дожидаться. Она перекрестилась, легла поудобнее. Скользили на потолке полоски света от проходивших мимо машин, тикали ходики. Тишина...

— Отработались мы, мать. На пенсию пора...

В кремовой атласной рубашке стоит муж и разглаживает седые усы.

— Поработали на славу — теперь им дорога.

Он обводит рукой стол, поднимает стопку водки. Встает Октябрина. На ней белое длинное платье с голубыми васильками. Поднимается рядом с ней высокий, крутоплечий парень. А это кто? Да сын же, сын! Как она не узнала?

Поднимается в папахе соседский Сашка.

— Он-то зачем? Да еще в папахе.

— Что вы? — смущаясь, говорит Володя-сын. — Внука, мама, не узнали? И не папаха на нем — шлем космонавта.

— Да, да, — соглашается она. — Простите, дорогие. Забывчивая я стала, голова болит...

Она пытается всмотреться в них, понять что-то, сказать:

— Да, как же вы, родные мои, живыми очутились? Как за стол-то вместе собрались? Сколько я ждала вас, как хотела этого, голуби мои! А вы, видно, не торопились. Иль поняли наконец, как тяжело старость одной коротать?

— Знаем, мама, — отвечают дети.

— Понимаю, мать, — отвечает муж.

— Они, бабушка, жизнь мне добывали. Жизнь! — говорит внук голосом соседского Сашки.

— Жизнь добывали...— повторяет она и смотрит на мужа, сына.

А они стоят плечо в плечо, оба статные, крепкие. Седоусый мужчина и крутоплечий русский парень. И оба нахмурили брови, и оба встали рядом, и оба сказали разом:

— Береги ее, Сашка, эту жизнь, слышишь?!

— Слышу!

— Вот моих двое,— говорит Октябрина и подводит двух малышей.

— Дорогие мои, славные!..

Она тянется к ним все ближе и ближе, разводит руки, чтобы обнять их. И вдруг удар, звон...

Она вздрагивает, открывает глаза.

— Что это?

У стола рядом с кроватью в расплывшейся луже разбитый графин.

Брезжил рассвет. Ночь прошла. Утро еще не наступало.

---

## СОДЕРЖАНИЕ

Поспехин приехал в город . . . . .	3
Посылка с того света . . . . .	26
Сны снятся долго.. . . . .	40

---

**Николай Николаевич Нефедов**

**ПОСПЕХИН ПРИЕХАЛ В ГОРОД**

Редактор — **П. КРАВЧЕНКО.**

---

А 00336. Подписано к печати 15/1 1968 г. Формат бум. 70×108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>.  
Объем 2,10 условн. печ. лист. 2,67 учетно-изд. л. Тираж 108 650.  
Изд. № 2361. Заказ № 3545. Цена 6 коп.

---

Ордена Ленина типография газеты «Правда» имени В. И. Ленина.  
Москва, А-47, ул. «Правды», 24.

## **Библиотека «ОГОНЕК»**

**1967 год**

*ВЫШЛИ ИЗ ПЕЧАТИ:*

- № 1. Николай ТИХОНОВ. **Зеленая тьма.** Повесть.
- № 2. Евгений ВИНОКУРОВ. **Голос.** Стихи.
- № 3. Андрей ФЕСЕНКО. **Тополевый пух.** Рассказы.
- № 4. Ричард РИВ. **Кафе у дороги.** Южноафриканские рассказы. Перевод с английского.
- № 5. Анатолий КУДРЕЙКО. **Светомир.** Стихи.
- № 6. В. ПЕРЦОВ. **Всеволод Вишневский.** Александр Довженко.
- № 7. Ирина ЛЕВЧЕНКО. **Огненная линия.**
- № 8. Евгений ПОПОВКИН. **Как выбирали Катерину.** Рассказы.
- № 9. Владимир СОЛОУХИН. **Не прячьтесь от дождя.** Стихи.
- № 10. Николай СЕКУНДОВ. **Страницы пережитого.**
- № 11. Федор БУРЛАЦКИЙ. **Испания: коррида и каудильо.**
- № 12. Николай ТРЯПКИН. **Летела гагара.** Стихи.
- № 13. Руфь ЗЕРНОВА. **Длинное-длинное лето.** Рассказы.
- № 14. Н. ТОЛЧЕНОВА. **В жизни и на сцене.**
- № 15. Трумэн КАПОТЕ. **Один из путей в рай.** Рассказы. Перевод с английского.
- № 16. Гафур ГУЛЯМ. **Итог.** Стихи. Перевод с узбекского.
- № 17. З. ХИРЕН. **Одной жизни мало.** Очерки.
- № 18. **Почему мудрость встречается повсюду и почему не у всех она есть.** (Сказки народов Африки). Перевод с английского.
- № 19. Мартын МЕРЖАНОВ. **Олимп футбольный.**
- № 20. А. БЕЗЫМЕНСКИЙ. **Единство.** Стихи.
- № 21. Мария ХАЛФИНА. **Мачеха.**
- № 22. Фрэнк ХАРДИ. **Рассказы Билли Боркера.** Перевод с английского.
- № 23. Галина СЕРЕБРЯКОВА. **Под Красной звездой.** Новеллы.
- № 24. Юрий МЕЛЕНТЬЕВ. **Овод живет в Уругвае.**

- № 25. Петрос АНТЕОС. **Лицо земли.** Стихи. Авторизованные переводы с греческого.
- № 26. Александр СЕРБИН. **Где гуляет Гиппопо.** (Африканские очерки).
- № 27. Виктор ТЕЛЬПУГОВ. **Серый в яблоках.** Рассказы.
- № 28. Лев САМОЙЛОВ, Михаил ВИРТ. **Игра с тенью.**
- № 29. Иван РЯДЧЕНКО. **Сладкая соль.** Лирика.
- № 30. Петр НИКИТИН. **В краю нартов.**
- № 31. Грэм ГРИН. **Поездка за город.** Рассказы. Перевод с английского.
- № 32. Л. ЛЕРОВ. **Блокнот, полный солнца.**
- № 33. Борис ЕГОРОВ. **Веселый вечер.** Юмористические рассказы.
- № 34. Александр КРИВИЦКИЙ. **Подвиг двадцати восьми гвардейцев.**
- № 35. Мария КОМИССАРОВА. **Лиза Чайкина.** Поэма.
- № 36. Юрий ЖУКОВ. **Америка, 1967.**
- № 37. Николай МИКАВА. **Фрески.** (Три новеллы).
- № 38. Леонардо ШАША. **Американская тетушка.** Повесть. Перевод с итальянского.
- № 39. Димитр МЕТОДИЕВ. **Солнечное притяжение.** Стихи. Перевод с болгарского.
- № 40. Вл. ПИМЕНОВ. **Воспоминания, встречи...**
- № 41. Леонид ЖАРИКОВ, Григорий ЕРШОВ, Михаил КОТОВ. **Наш современник — Николай Бирюков.** (Страницы героической жизни).
- № 42. Михаил ЛЬВОВ. **Обелиск.** Стихи.
- № 43. Жан ГРИВА. **Привидения.** Рассказы. Перевод с латышского.
- № 44. Юрий ИДАШКИН. **Давайте поспорим...**
- № 45. Андрей УПИТ. **Жемчужина из перстня.** Рассказы. Перевод с латышского.
- № 46. Д. КРАМИНОВ. **«Эль Теньенте».**
- № 47. Надежда ЧЕРТОВА. **Сухореченские сестры.** Рассказы.
- № 48. Демьян БЕДНЫЙ. **Снежинки.** Стихи.
- № 49. Клиффорд САЙМАК. **«Сделай сам».** Рассказы. Перевод с английского.
- № 50. В. ВЛАДИМИРОВ. **Времена и люди.**
- № 51. Дмитрий ФУРМАНОВ. **Незабываемые дни.**



## **ГОССТРАХ ЗАКЛЮЧАЕТ ДОГОВОРЫ СМЕШАННОГО СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ НА РАЗЛИЧНЫЕ СРОКИ И СТРАХОВЫЕ СУММЫ**

- Договоры смешанного страхования жизни заключаются с гражданами СССР в возрасте от 16 до 65 лет на срок 5, 10, 15 или 20 лет, но не далее достижения застрахованным 70-летнего возраста.
- По этим договорам Госстрах выплачивает страховую сумму самому застрахованному по окончании срока действия договора страхования, а также при постоянной утрате застрахованным общей трудоспособности от несчастного случая, происшедшего на работе или в быту.
- В случае смерти застрахованного от болезни или другой причины страховая сумма выплачивается лицу, назначенному для получения этой суммы.
- Месячный страховой взнос с каждых 100 рублей страховой суммы устанавливается в зависимости от возраста лица, желающего застраховаться, и срока страхования. Так, например, лица в возрасте 30—37 лет при пятилетнем сроке страхования и страховой сумме 300 рублей уплачивают в месяц 5 руб. 25 коп.

Для более подробного ознакомления с условиями страхования и заключения договора обращайтесь в инспекцию или к агенту Госстраха. Инспекция Госстраха имеется в каждом районе. Агента Госстраха можно вызвать к месту вашего жительства или работы.

**ГРАЖДАНЕ! ЗАКЛЮЧАЙТЕ ДОГОВОРЫ СМЕШАННОГО  
СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ.**

Главное управление государственного  
страхования РСФСР